

СЕРГЕЙ ШВЕДОВ

Похороны Деда Мороза



Сергей Шведов

Похороны Деда Мороза

«Издательские решения»

Шведов С.

Похороны Деда Мороза / С. Шведов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-859519-6

«Похороны деда Мороза» — сборник рассказов, действие которых происходит как в наши дни, так и в далеком прошлом. Истории, о которых идет речь в книге, объединяет одно — сложная и запутанная интимная жизнь героев. То, что люди обычно хранят в темноте, вдали от чужих глаз, на что налагают табу в разговорах, автор исследует и выставляет на всеобщее обозрение, потому что лишь эта часть человеческих взаимоотношений определяет жизнь людей вплоть до малейших поступков.

ISBN 978-5-44-859519-6

© Шведов С.

© Издательские решения

Содержание

Похороны Деда Мороза	6
Мой брат – метатель молота	17
Смерть Егора Гайдара	34
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Похороны Деда Мороза

Сергей Шведов

Дизайнер обложки Сергей Шведов автор

© Сергей Шведов, 2017

© Сергей Шведов автор, дизайн обложки, 2017

ISBN 978-5-4485-9519-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Похороны Деда Мороза

До самого своего шестнадцатилетия Люда Гребцова искала надежного мужчину, на которого можно было бы положиться. В детстве мама говорила ей тихо, пока пьяный отец дрых на полу посреди комнаты – он был уже к тому времени настолько тяжелым, что дотащить его до кровати не было никаких сил, – глядя ее, еще маленькую, по всклокоченной голове и подметая разбитые им осколки посуды:

– Все они одинаковы, козлы и ублюдки, наши с тобой мужики. Будешь постарше, поймешь, с кем не надобно жить.

– А с кем надобно, мама?

Люда долго не могла понять ее слов. Она росла в большой и дружной семье, как ей всегда казалось, и даже потом, видя вокруг неприкрытую правду жизни, предпочитала верить в однажды услышанные слова. Это были еще те далекие времена, когда вся семья жила под одной крышей, некогда полученной дедушкой за долгую службу родине, и за пределами своего уютного и доброго мира она вряд ли что понимала. Ее окружали мужчины, их было много, и все они были столь разные, непохожие друг на друга, и все чего-то требовали и добивались от нее с детства, и каждого она продолжала сравнивать с дедушкой, поскольку он один не требовал от нее ничего. Уже тогда он был ее богом, ее вторым, а то и первым отцом, создателем и учителем, и Люда старалась во всем безоговорочно верить ему, не замечая того, прав он был или нет, боясь даже изредка усомниться в его непоколебимом авторитете.

Впрочем, его и так все боялись. Будучи ветераном войны, прошедшим бои под Варшавой и еще какие-то окопные приключения, о которых он на публике предпочитал умолчать, дедушка казался незыблемой гранитной скалой, айсбергом в океане, который плывет и плывет себе, возвышаясь горой над поверхностью стылрой воды, с которой опасно сталкиваться и невозможно ничем совладать. Он был себе на уме и никогда не рассказывал о своем прошлом лишнего, не процеженного сознанием, пока оставался трезвым. Как и все остальные мужчины, дедушка много пил, но в отличие от других, почти до самого последнего момента оставался кристально трезвым, продолжая вести разговор с невменяемым уже собутыльником, распоряжаясь, отдавая приказы, выпрашивая подробности и давая советы бывалого ветерана. Потом он враз отрубался, и никакая сила не могла его сдвинуть с места, и мама с отцом оставляли его спать за столом, где сидел, и Люда тихо бегала на кухню смотреть, как сидит, склонив на грудь голову, его одинокая массивная большая фигура, и то ли спит, то ли дремлет, то ли еще что-то бормочет себе под нос, словно богатырь из какой-то сказки, но на самом деле то просто шевелились от дуновения ветра его седые усы.

Ей потом рассказали, что дедушка был не просто железнодорожником. Еще во время войны и после нее, будучи командиром состава, он водил по стране литерные поезда, перевозил в охраняемых пулеметчиками вагонах и пленных немцев, и ссыльных, и зеков, и прочих врагов народа, и не было случая, чтобы от него кто-то сбежал. Так продолжалось долго, и служба его казалась всем остальным вечной, из рода в род, пока в один прекрасный день старости все внезапно переменилось. Будучи демобилизованным и выведенным в запас по неизвестной болезни, он долго не мог смириться с новым своим положением, и, надевая военную форму и ордена, приходил на вокзал и встречался с бывшими сослуживцами, прибывавшими с оказией по расписанию. Он и дома пытался сперва жить по военным законам, считая, что так будет проще и ему, и всем остальным, потому, что когда все расписано в жизни до мелочей, то жизнь существенно облегчается и остается больше свободного времени на хозяйственные дела, игру в домино и карты с соседями во дворе, и даже на размышления, что, впрочем, он считал вредным и опасным занятием, от которого немало людей у него на глазах постепенно сходили с ума.

Поначалу без перегибов не обошлось. Будучи человеком военным, он справедливо считал, что мясо гражданскому населению не положено, но скоро понял, что столь суровая мера вызовет бунт даже у вечно молчащей бабушки, да и самому не очень-то и хотелось следовать собственному закону. Мясо он разрешил, но с утроенной энергией взялся за регламентацию всей остальной жизни семьи, и прежде всего питания. Мысля вполне разумно, он посчитал, что домашнее скудное их меню нужно разнообразить, чтобы все запомнили, как по календарю, что за чем следует, и сам сидел вечерами на кухне под болтавшейся над столом ввернутой в голый патрон тусклой лампочкой, составляя для бабушки расписание. В понедельник у него было капустное меню: салат и щи из свежей и кислой капусты, капуста тушеная, капуста отварная, беляши с капустой, котлеты тоже были капустные, и на десерт был свежий капустный сок. Другой день был свекольный: салат из свеклы с орехами, из свеклы с морковью и из свеклы с чесноком, винегрет, борщ, свекольник, ботвинья и просто тушеная свекла, потом был морковный день с салатом из моркови и свеклы, морковным соком, морковным супом и котлетами из моркови. Четверг, разумеется, был рыбным днем, пятница картофельным, и только в субботу и воскресенье он позволял людям отойти от обычного графика и побаловать себя разносолами, и то лишь потому, что отдыхал на садовом участке или с соседями на лавочке, до полуночи забивая козла.

По расписанию у него все вставали и ложились, ели и спали, читали учебники и газеты, и даже ходили по очереди в туалет, а он продолжал упрямо считать, сколько раз кто нажал из семьи на рычаг, и не дай Бог кому-то нарушить режим и пойти во внеурочное время. Дедушка гневался, ругался за завтраком или обедом и норовил лишить нарушителя своей очереди, отсылая в общественную уборную на вокзал, одно только воспоминание о которой повергало преступника в мелкую дрожь.

Дедушкиной тирании конец пришел внезапно и быстро, когда никто, и прежде всего, он сам, не думал и не гадал – как-то поутру он просто ослеп и не смог встать с кровати. Его отвезли в больницу, где он пролежал два месяца, как ветеран войны, а вернулся оттуда совсем иным человеком. Худой, бледный, изможденный, высохший, как доска, он казался теперь карикатурой на прежнего дедушку, и мог ходить с огромным трудом, держась лишь за стену или подхваченный руками жены и детей. Зрение ему частично вернули, хотя попрекали родных, что обратиться он к ним раньше на месяц-два, то и глаз можно было спасти. Но он не жаловался на болезни, считая, что тем самым подрывает свой авторитет на корню, и ссылаясь при этом на Сталина, который вообще никогда не болел, разве что перед смертью, а когда его смерть придет, то ему будет уже на все наплевать. Сталина он уважал, но без излишних эмоций, говоря о нем скупой, весомой и твердо, словно забивал гвозди в головы собеседникам, и они уже больше спорить не смели. Люда с малых лет, будучи совсем несмышленной, запомнила эти простые слова, и словно молитву, повторяла их про себя, думая о надежном мужчине и почему-то всякий раз при этом в памяти у нее возникало лицо седоусого дедушки, накладывавшееся на выцветший портрет Сталина из «Огонька», приклеенный на дверь в шифоньере, оно разжимало стиснутые, словно от боли, гнилые желтые зубы и гулко впечатывало одни и те же короткие междометия, как заклинание, утвержденное дедушкой образцом на века: был порядок, цены снижали, евреев давили. Все.

Живя всю жизнь в пригороде, они и не видывали прежде каких-то евреев возле себя, пересекаясь с ними или теми, кого принимали за них, разве что в городских учреждениях, или больницах и школах, хотя, конечно, в паспорт ни к кому не заглядывали. За неимением настоящих евреев их надлежало выдумать. Поставит Марья Ивановна двойку старшему брату в дневник, и тут же превращается в Марьямму Исаковну, ненавистницу всего русского, и прежде всего детей. Обойдет Павел Семенович деда в получении садового участка на болоте в шесть соток за тридевять земель под Звенигородом, и тут же становится Пейсахом Самуиловичем, с большим и очкастым носом, хотя, по сути, дед и не собирался по жизни таскаться в такую

даль. Так продолжалось из года в год, пока старший брат матери, дядя Люды по имени Николай не задумал жениться на девушке из еврейской семьи. То есть, он-то и сам не догадывался, что она оказалась еврейкой, но дед с бабкой, даже не видя ее, сразу почувствовали из его разговоров тяжелый еврейский дух. Ее родители, врачи, выбор дочери одобряли, приданое ей давали, даже предлагали квартиру в кооперативе, но ничто не могло свернуть дедушку с истинного пути. Засучив рукава, он после прихода со службы сам поехал к ним разбираться, заперев Николая дома. В итоге соседи врачей, перепуганные страшной дракой и руганью, вызвали на помощь милицию. Но милиция, узнав о причине вызова, не спешила, и квартира врачей была разгромлена в пух и прах. Товарищеский суд взял дедушку на поруки, но его отношения с начальством, не желавшим выносить любой сор из избы, были безнадежно испорчены. Говорили, что деда спасло лишь то, что он регулярно платил партийные взносы и активно участвовал в партсобраниях, обсуждая материалы партийных съездов, но он сам про это помалкивал. Зато во дворе он стал настоящим героем, его уважали еще сильнее, чем прежде, а дядя в итоге женился на простой русской уборщице из семьи дворников, живших в соседнем подвале. Люда, разумеется, видеть ничего этого не могла и знала всю историю лишь со слов матери, возможно, приукрашенных временем.

Потом она сама пошла в школу, и только там, от старших девчонок в туалете на первой же перемене в жизни узнала, чем же, на самом деле, занимался ее старший брат со своей еврейской невестой. Домой она вернулась заплаканная, и долго молчала, упорно не желая рассказывать ничего встревоженной матери, а затем и отцу. Тот, впрочем, пришел, как всегда, довольный получкой, сытый и пьяный, и завалился спать посреди комнаты, и даже общими усилиями с детьми и бабушкой с дедом его не смогли сдвинуть с места. И только уже поздно ночью, когда ее почти силком уложили спать, так боялась она в тот вечер идти в постель, под большим секретом она рассказала матери, что сегодня узнала от девочек в туалете.

Мать всплеснула руками, согнулась от хохота, и на карачках выползла из спальни на кухню. Там в этот поздний час при свете старой настольной лампы в железных очках сидел дедушка и с карандашом в руках прорабатывал установочную статью газеты «Правда» о перестройке. Статья не давалась его пониманию, и он перечитывал ее снова и снова, качая лохматой своей головой. С удивлением он воззрился на мать, появившуюся вдруг в дверях, он еще никогда не видел ее такой веселой и странной одновременно. Она долго не могла ничего сказать, начиная и тут же давясь от хохота, и наконец, булькая от смеха, произнесла:

- Ты только послушай, что говорит твоя внучка! Чему ее в школе учат.
- Небось, английскому? Лично б я запретил! Нечего вражий язык учить!
- Хуже! – констатировала она, успокаиваясь. – Готовят ее в проститутки.

Его реакция мать искренне удивила. Дедушка задумчиво покачал головой, словно разом вернувшись в свое далекое прошлое, о котором не рассказывал никому, и сумрачно произнес глухим прокуренным голосом.

- Пусть готовится. В жизни все пригодится.

И строго-настрого запретил впредь о том с ней говорить. Будто ничего вовсе и не было.

Потом уже, в старших классах в ее жизнь стали входить один за другим новые и загадочные предметы, как и новые учителя, и поневоле Люда узнавала об окружающем мире все больше и больше. Учителем биологии у них был высокий представительный кудрявый мужчина с усами, гроза и предмет зависти девчонок из всех старших классов, которого мальчишки терпеть не могли и за глаза звали Сусик. Вечно глаза навывкате, вечно зычным и хриплым голосом, похожий на Петра Первого, Сусик наводил страх и любовь на толпу, т первой, кто проникся к нему настоящей страстью, была, разумеется Люда. Она дрожала, каждый раз идя к нему на урок, чувствуя, как бьется отчаянно сердце и заливают спину холодный пот. Уроки она не готовила, домашних заданий не выполняла, он злился, вызывая ее к доске, стыдил и срамил, вызывал на ковер родителей, но они как всегда не являлись. Во снах, он представлялся

ей жестоким и грубым насильником, хватавшим и тащившим ее в кусты, и она просыпалась с криком, не понимая, что происходит. Пару раз она даже описалась и сильно намочила кровать, поутру вызвав скандал, и мать пригрозила отдать ее каким-то врачам навсегда. Но Люда ничего не могла поделать. Ей казалось, что она понемногу сходит с ума, но боялась в этом признаться.

Так продолжалось до конца года, а когда настала зима, и пора было ставить оценки за четверть, Люда внезапно решилась. Она совершенно не знала, как это делается, и сама потом признавалась, что действовала неосознанно, как в тумане. Вечером, когда занятия в школе закончились, и здание опустело, она тихонько прокралась в его кабинет и стала под дверью. Внутри было тихо. Сусик сидел за столом и правил тетради, размашисто расписываясь после плохих отметок и тихо ставя галочку после хороших. Ему, видимо, доставлял удовольствие этот процесс, потому что он насвистывал веселую песенку и почти не обращал внимания на то, что творилось вокруг. Впрочем, вряд ли что-то в такой тишине могло привлечь его настойчиво внимание, он был так увлечен процессом, что не заметил, как Люда тихо вошла и остановилась почти против его стола. Когда ее молчание затянулось, она тихо кашлянула, и он испуганно вздрогнул, остановился и поднял глаза на нее. Люду словно током прошибло, она покраснела, побагровела и чуть не расплакалась.

– Чего тебе надо, Гребцова? – спросил Сусик недоуменно, тараща на нее свои вечно выпученные глаза. – Домой почему не идешь?

– Павел Сергеевич, я вас люблю, возьмите меня, пожалуйста, – сказала она не своим голосом и вдруг дрожащими руками задрала перед ним юбку и заплакала.

Сусик вскочил, сшибая стопу тетрадей со стола на пол, и выпростал вперед трясущиеся, как в лихорадке, руки, словно отгораживаясь от нее.

– Ты что делаешь, Гребцова?! Немедленно иди в туалет! – орал он низким зычным голосом, от которого дрожали стекла в шкафах с препаратами, и попятился, не сводя с нее глаз.

Она продолжала стоять перед ним, плакать и утирать слезы краешком задранной к лицу юбки.

Разразился страшный скандал. Дедушка сам пошел разбираться в школу, топорща седые усы и бормоча про себя ругательства, которые даже во время конвоирования самых опасных зеков редко употреблял.

– Врете! – кричал он на всех, потрясая пудовыми кулаками. – Клевещете на мою внучку! Ей бы это и в голову не пришло, уж я-то хорошо знаю!

А потом, когда буря утихла, за глаза всегда добавлял:

– Вот молодец, девка! Видать, далеко пойдет.

Сусика все же уволили под нажимом родительского комитета. Горе старшеклассниц невозможно было описать словами, но потом все привыкли и вспоминали учителя биологии только, как страшный сон.

Зато Люда после этого случая не на шутку прославилась, и связываться с ней считали опасным даже самые отъявленные хулиганы. С двумя другими подружками она стала считаться настоящей сорви-головой, пила в туалете пиво на переменах, дралась на уроках, таскала за волосы отличниц из младших классов, и вообще, как говорили потом охранники, словно с цепи сорвалась. Особенно от нее доставалось двум ученикам из параллельного класса, которых она, налетая, была вместе с подружками, рвала их учебники и тетради, отнимала сумки и мочилась в них за углом. Понять причины этого поведения долго никто не мог, но директориса, пару раз сцепившись в неожиданных для нее стычках с Людиным дедушкой, приходившим ее защищать, считала его сумасшедшим. Впрочем, теперь никому дела до нее уже не было. Вовсю шла перестройка, бабушка пропадала все дни у метро, торгуя водкой и сигаретами, полученными по талонам за всю семью, мать пахала на даче, охраняя на грядках скудный урожай от воров, отец продолжал пьянствовать, пока его завод не закрыли. В декабре кряк-

нул весь Советский Союз, а десятого января нового года, дедушка, сходя в магазин и увидев подскочившие за одну ночь цены, скончался. Похороны его были бедными, на поминках едва хватило всем водки, и только одна Люда из всех родных рыдала над ним навзрыд. За это дядя, пришедший на похороны только затем, чтобы помочь тащить гроб, начал ее дразнить идиотской прямо на кладбище. Люда, неожиданно взбеленившись, схватила забытую кем-то лопату, погналась за перепуганным дядей по заваленным снегом тропинкам и на повороте столкнула в сугроб. Над этой забавной картиной больше всех хохотал его уже взрослый сын, долговязый испитой Игорь с вечно придурковатым лицом, которого за глаза втихаря звали Гошей-наркошей. Все знали, что он курит травку, колется и нюхает разные химикаты еще со школы, хотя был отличником и даже победителем школьных олимпиад. Дядя еще надеялся, что Гоша сдаст экзамены в институт и станет врачом-стоматологом или на худой конец инженером, но сынок интереса к образованию больше не проявлял, армии не боялся из-за какой-то сложной болезни вен, а работать мечтал в авторемонте, разбираясь в начинке машин, как иной хирург в печени и кишках. Несмотря на свои таланты, он был пофигистом по жизни, презирая отца и мать, смеясь над другими родными, и лишь уважал умершего дедушку, идеалов которого придерживался до сих пор. Над кроватью у него дома висел портрет Сталина, сам он был жутким антисемитом и ненавидел Америку, словно это она, страшная злая женщина, вроде Бабы-Яги, а не Гайдар и Чубайс на пару обобрали до нитки его и его родителей.

Гоша первым после поминок предложил Люде выкурить косячок, и она с горя и усталости согласилась. Курево ей не понравилось, голова закружилась и она едва не упала на улице, стукнувшись о косяк, а когда присела с ним рядом от непривычки, он предложил ей еще одну порцию, после которой она неожиданно обмочилась. Ей было так стыдно, что сидя с ним рядом с мокрыми джинсами и чувствуя, как под ней предательски растекается теплая вонючая лужа, она пыталась его отвлечь и несла всякую чепуху. Но Гоша сразу унюхал подозрительный смрадный запах и, обнаружив его причину, поднял девчонку на смех, и она ушла от него заплаканная. По дороге домой, в промерзшем автобусе, ей стало плохо, и она едва не упала в проход, а когда ее посадили, приняв за пьяную, она чуть не заснула, привалившись растрепанной головой к какой-то закутанной в пуховый платок тетке в очках. Тетка подняла крик, учуяв запах мочи, соседей Люды как ветром сдуло, а вошедшие на конечной станции контролеры сдали ее милиции.

Это была самая жуткая ночь в ее жизни. Ее заперли в обезьянник, глухую комнату-клетку, пропахшую потом, плесенью и дерьмом, темную настолько, что дальней стены и того, что возле нее находится, даже не было видно. Люда плюхнулась на скамейку возле самой двери, ближе к свету, исходившему из грубо прикрученных под потолком трубчатых ламп, пока сержант, приведший ее, за окошком в длинной обшарпанном коридоре заполнял на нее бумаги. В темном углу завозились, словно забегали огромные мыши, и Люда, которой сперва показалось, что там никого нет, увидела краем глаза приближавшиеся к ней черные тени. Мгновенно протрезвевшая, расширившимися от страха глазами она смотрела на возникшую из темноты перед ней размалеванную лохматую женщину с большим декольте, из которого едва не выскакивали ее груди, огромные, лоснящиеся, похожие на два розовых пузыря. Ей стало жутко, женщина, которой на вид было не более сорока, с ярко накрашенными губами и подведенными черным веками, уже потекшими краской вдоль щек, осунувшаяся и морщинистая, рассматривала ее внимательно, словно зверька в зоопарке, а потом махнула рукой и хрипло произнесла:

– Иди сюда, мандавошка! Живо вставай, мы как раз тебя ждали!

Позади нее из темноты донесся сиплый прокуренный смех, потом кто-то громко прокашлялся, и вторая фигура, наполовину выйдя из темноты, и оказавшаяся тоже женщиной, пониже и потолще первой, но столь же ярко накрашенной, как индианка, добавила:

– Давай, шевелись, сучка! Я так и знала, что нам сейчас самое сладенькое подсунут!

Люда от ужаса обмерла и не сдвинулась с места. Сержант, заполнявший на нее длинную ведомость, коротко поднял глаза на решетку, услышав подозрительный шум и крики, но лишь усмехнулся и продолжил свою писанину. Он и не думал спасать девчонку, словно для того самого и отправив ее в обезьянник на эту ночь. Первая размалеванная особа протянула морщинистую заскорузлую руку в венах и схватила Люду за локоть, несмотря на то, что та упиралась всеми силами, и потащила ее за собой в темноту.

– Не надо, тетеньки, ну пожалуйста, ну не надо, – заныла она слабым голосом, но это лишь подстегнуло к ней интерес, и вторая женщина в темноте только захохотала:

– Ишь, как запела, красавица! Да ты не бойсь, тебе потом легшее жить будет!

Закончить она не успела. Внезапно по коридору раздались громкие чьи-то шаги, словно прошел некий рыцарь в доспехах, обнажая свой острый меч, и возле решетки, за которой тянули в темноту девочку страшные руки, возник капитан, высокий, белобрысый, подтянутый, и даже в ладно сидевшей на нем форме с фуражкой, словно собравшись идти на парад. По крайней мере, так показалось Люде, метнувшей тут же на него умоляющий взгляд.

– Никифорова, сядь на место, чувырла! – выкрикнул он так зычно, что размалеванная мадам, тащившая Люду за локоть, отпустила ее немедленно и присела со страха. – Оставь девку в покое, блядь! Егоров, кто это там у тебя? – уже совсем иным тоном спросил он у вытянувшегося по стойке смирно сержанта, одутловатого и нелепого в своем сером облезлом бушлате.

– Дак это, пьяную сдали с автобуса, никак хулиганничала, говорят, – запинаящимся голосом проблеял сержант, таращась на погоны начальника.

– И ты ее с драными кошками посадил? – удивился капитан, недоуменно поглядывая на Люду, снова пристроившуюся на лавке возле самой двери обезьянника.

– Дак это, для воспитания. Школьница же еще, – бормотал нелепо толстый сержант, одергивая на себе лопавшийся на швах серый китель.

– Хорош из тебя воспитатель, – покачал головой капитан, и коротко кивнул головой. – Освободи-ка ее и аннулируй всю эту чушь. Нечего мне статистику портить.

Развернувшись, он пошел по коридору прочь, провожаемый Людиным восхищенным взглядом, а сержант суетливо и неловко заторопился, гремя ключами и отпирая дверь клетки под грязную ругань обеих жутких теток из темноты. Она вывалилась наружу, почти задохнувшись от вони, пропитавшей там даже облезлую штукатурку на стенах, зверскую смесь из запаха прокисшей мочи, засохшего кала, пота, гнилья и бабских старческих выделений, которые она особенно ненавидела. Ее взяли под руки и, кашляющую, порывающуюся упасть и вывалить из себя все, скопившееся за день, вывели на свежий морозный воздух. Она так и не поняла, кто это сделал.

Следующим же вечером она отправилась на кладбище к дедушке в первый раз, и именно с той промозглой, оттепельной ночи, когда снег набух и потек черными маслянистыми загрязнениями по дорогам начались ее тайные зимние походы на другой конец города, о которых никто из родных не знал. Впрочем, все имело свой смысл, отсюда ей было легче добираться тайком до милицейского отделения и сидеть в засаде то на чердаке выселенного дома напротив, то в кустах, а то и просто прятаться за деревьями летом, когда густая листва сама собой заслоняет ее от постороннего недоброго глаза. Она высиживала там часами, не притрагиваясь даже к еде, которую брала из дома с собой, уверяя мать и бабушку, что съедает все по дороге, ожидая, когда в окне появится тот капитан, что свел ее когда-то с ума. Иногда его высокий представительный силуэт, словно в театре теней, возникал внезапно в окне и уходил в сторону, то размахивая руками, то крутя головой, то еще производя с собой какие-то операции, и даже не видя лица, Люда была уверена, что это именно он, и пожирала его глазами. Иногда она сама с ужасом думала, что начинается помешательство, и потом долго рылась дома в старой медицинской энциклопедии, пытаясь понять, может ли она как-нибудь победить эту страсть. Она уже знала про капитана все до мельчайших подробностей, и где он живет, и что за семья

у него, на чем добирается на работу, и с кем проводит свое свободное время, она проследила его до дома, обследовала дверь в квартиру, узнала, что жены и детей у него еще нет, но есть девушка, а живет он с родителями. Девушку эту, толстую, некрасивую клячу с запахом изо рта, она возненавидела всей душой, и готова была разорвать ее на куски. Девушка работала парикмахером, и Люда даже пару раз заглянула туда, хотя ей было туда совсем не по пути, и заставила себя напроситься на стрижку и сесть именно в ее кресло, сославшись на выдуманную тут же рекомендацию. Девушка постоянно отвлекалась на телефонные переговоры – с ним, с кем же еще! – работала лениво и плохо, но Люда пересилила свое отвращение и оба раза досиживала до конца. Ей иногда хотелось схватить со столика перед собой ножницы или щипцы и ткнуть этой шлюхе в глаз, но она себя сдерживала, понимая, что это бессмысленно, и она продолжала терпеть и мило и весело улыбаться, отвечая на ее тупые деревенские шуточки. Потом, проследив и за девушкой, она вдруг узнала, что девушка изменяет своему капитану, сбегая с работы с парнями, которых у нее перебивала целая уйма, она видела, как они целовались в парке и по дороге домой, как она отправлялась с ними в чужие квартиры и там оставалась на ночь. Расстроившись, а потом и порадовавшись удаче, Люда написала печатными буквами несколько писем, которые подбросила ему вместе с почтой в дом и порог отделения ночью, узнав фамилию капитана. В них она рассказала о похождениях его деревенской дуры, прячущейся за дешевыми нарядами и мещанскими предрассудками, сообщила и адрес и время ее свиданий и встреч, и всячески жалела своего капитана, расточая глупые комплименты, которые вычитала из дешевых женских романов, специально купленных для сей благородной цели.

В школе, где она уныло доучивалась, а скорее, досиживала часы, надеясь когда-нибудь выйти в мир, не знали о ее похождениях ничего, напротив, всеми силами теперь она старалась показать свое рвение, и даже самые недоверчивые учителя, привыкшие к ее шалостям, истерикам и злобным выходкам, дивились и не могли нарадоваться на внезапную перемену в характере девочки. С родителями она не делилась, стыдясь своей глупой страсти, и тайно мечтала о том, когда вдруг появится перед ними под руку с капитаном, и тогда они ахнут, упадут в обморок или поклонятся ему в ноги. С той первой встречи в грязном ночном околотке он начал ей сниться каждую ночь в самых разных загадочных ипостасях, словно индийский бог. То он, огромный и длиннорукий, гонялся за ней во сне по ночным улицам, заливаемым промозглым дождем, а она, голая и замерзшая, мчалась по лужам, не зная, как от него спастись. То напротив, она, словно собака, выскакивала из подворотни и кусала его за шею, а он падал и становился от укуса маленьким и жалким, словно ребенок, и она тогда брала его на руки, качала, угукала и носила с собой, показывая всем, кто только попадался навстречу. Однажды во сне она вдруг повстречала его в лесу, лес был глухой и огромный, без конца и без края, ни тропинок, ни просек, одни уходящие вдаль сосны и ели с огромными лапами, и она бродила по нему кругами, а он выходил из-за сосен, брал ее за руки и водил за собой. В том месте, куда он ступал, возникали внезапно грибы, то белые, то подосиновики, то лисички, то целые выводки опят и маслят, а то красные и серые столбики больших мухоморов, все это заставляло Люду ворочаться на постели и вскакивать с криком, родители просыпались за стенкой и ругались, колотя по стене рукой, бабушка, с которой она спала в одной комнате, тоже пугалась и бежала глотать таблетки, а потом утром таскала ее за волосы, думая, что тем самым она отведит ее от ночных безобразий.

Эти сны она объясняла по-всякому, толкуя на свой незатейливый вкус, не рассказывая даже подругам в школе из страха, что засмеют, и потому, едва увидев сон про грибы, догадалась соединить его с дедушкой, который бывало в детстве водил их с бабушкой и двоюродными братьями по лесу, плутая часами, уверенный каждый раз, что знает дорогу домой. Он заводил их в болота, на неизвестные просеки, уводившие их далеко в неведомые деревни или к железной дороге, по которой мимо них неслись на запад скорые поезда. Бабушка очень боялась идти с ним в лес за грибами, но страх за внуков, остававшихся на его попечении, пересиливал, и она,

проклиная на свете все и прежде всего дедушку, сбивая в кровь руки и ноги, тащилась за ним, уверенно шагавшим с палкой в руках навстречу сплошной неизвестности. Люде нравилось, как уверенно он ведет их всех по глухой лесной чаще, не зная, куда идет, но, ничуть не сбавляя скорости и не допуская сомнений в собственной правоте. За время их долгих плутаний они видели лося, бежали от кабанов, слышали вой волков, подходили к медвежьей берлоге и даже однажды вдали видали повешенного на дереве, но в этом последнем случае даже дед поспешил увести всех прочь от страшного места. Люде было и жутко и весело с ним блуждать, и не вспоминалось ничего более радостного из детства, кроме лесных приключений, от которых остались теперь у нее только сны. В них дед незримым, странным для нее образом смешался с тем капитаном, за которым следила неотрывно она, мечтая когда-нибудь в жизни поговорить с ним лицом к лицу.

Все надежды ее на удачно задуманную интригу неожиданно лопнули. Нет, конечно, со своей деревенской дурой он немедля расстался, и Люда, дыхание от радости затаив, стала свидетелем бурной сцены, в которой было меж ними все: и брань, и побои, и крики, и он таскал ее за волосы и размахивал письмами перед ней, или Люде так показалось издали, что то были ее неумелые письма. Девица ушла от него в слезах, а он с горя напился и еле доехал домой на машине, норовя угодить в аварию. Люда не успела проследить за ним до конца, оставшись в кустах и провожая глазами вихляющую из стороны в сторону «Ладу» бравого капитана. На следующее утро он вышел на службу, как ни в чем не бывало, а уже через день, пока Люда думала, как с ним теперь познакомиться по-настоящему, у него уже появилась новая девушка.

Это было тяжелым ударом. Увидев ее вместе с ним в первый раз, Люда сперва не поверила своим глазам, но сомневаться не приходилось, ведь он теперь нагло держал ее за талию и изредка целовал. Обидно было и то, что Люда немного знала эту девицу, бойкую и размазанную, наглую стерву, жившую в квартале ходьбы от дома, и считавшуюся проституткой. Нет, разумеется, она отнюдь не похожа была на тех отвратительных теток, что зимой домогались ее в обезьяннике, напротив, никому бы в голову не пришло назвать ее шлюхой, но Люда сразу нарекла этим прозвищем и снова горько рыдала в кустах. Зареванная, сама не своя, она не пошла даже в школу, а вернулась домой и пролежала весь день с головной болью, отвернувшись к стене и закрывши лицо руками. Тут даже бабушка присмирела, а отец, вернувшись пьяным с работы и побуйствовав для порядка, тоже слегка протрезвел и улегся спать раньше времени, к радости всех окружающих персонажей, нелепых и страшных.

Прошло восемь месяцев. Вокруг нее все по-прежнему прозябают жалкой обыденной жизнью, стараясь что-нибудь заработать, продать, обмануть, отобрать, выменять или получить на халяву, доходя во всеобщем разврате до грабежей и поджогов, нередко тут и самоубийства. Недавно одна из соседок, у которой на улице отобрали сумку с едой, купленной на всю пенсию на месяц вперед, вернулась в слезах домой и повесилась сразу на кухне; а два малолетних дурачка-наркомана надышались в подвале бензина и умерли с пакетами на головах; другая соседка, у которой нашли рак кишечника, выпрыгнула с восьмого этажа из окна. Жизнь проходит стороной мимо Люды, теперь больше не задевая ее своими углами, как бывает с девочками, столкнувшимися с изнанкой судьбы. Она ушла в кокон, в скорлупу, словно моллюск, захлопнув ото всех створки раковины, поняв своим повзрослевшим умом, что надежных мужчин в мире не существует. Капитан зачеркнут навсегда, словно его и не было, бинокли, термосы и прочие принадлежности слежки спрятаны и забыты.

Новый год приближается. Последний день декабря, сырой и промозглый, с самого начала оказывается невеселым. Бабушка все утро сидит на кухне и плачет, и пьет валерьянку. На вопрос, что случилось, она лишь машет вялой своей рукой и молчит, и мать за нее отвечает: сегодня узнали, что соседи на даче убили ее кота, который повадился лазить к ним на участок.

– Жалко котейку-то, – всхлипывает старушка.

– Мама, себя жальче! Лучше бы помогла, – в сердцах говорит ей дочь, бегая мимо нее с кастрюлями и закрутками, готовя салаты и холодец на праздничный стол.

Кухня маленькая, и чтобы миновать сидящую бабушку, надо обогнуть по периметру все помещение, больно задевая за углы тумбочек и столов, выступающие как назло отовсюду. На столах расставлены поддоны из раскаленной уже плиты, кастрюли и сковородки, варится лук и капуста, банки с огурцами и помидорами уже вскрыты и зияют своими жерлами, выстроившись в пузатый стеклянный ряд на полу. Людям тут места нет. Бабушка сидит на стуле, молчит и раскачивается из стороны в сторону, словно маятник. Мать опять пробегает мимо, бормоча сердито себе под нос, сзади поднятый с дивана отец тащит огромную кастрюлю с разваренным мясом для холодца. Сегодня он трезвый, но лишь для того, чтобы напиться как следует за новогодним столом. Ждут гостей, перед ними нельзя ударить в грязь лицом.

Люде становится тошно. Когда-то на кухне величественно восседал ее дедушка, и даже под Новый год никто не осмеливался помешать его ежедневному распорядку: сон, чай, газеты, снова чай, снова газеты, завтрак, газеты, проверка заданий для каждого на день и прочие всем хорошо известные действия до мелочей. Люде было интересно сидеть возле него, и он баловал внучку, одну лишь ее допуская к себе за стол. Тогда он отвлекался от чтения и рассказывал о прошлом, в котором были непременно истории о его похождениях во время войны, как ни странно, казавшиеся до сих пор лучшим временем в жизни. В них было много насилия, обмана, подлости и коварства, но на войне как на войне, кого-то всегда убивали, кто-то совершал самоубийство, дедушка не скрывал от нее, что уже в самом конце в Германии пришлось по приказу командования насилловать немок в захваченных городах и поселках, и он был доволен доверием начальников, организуя эти карательные экспедиции с огромной охотой. Он верил своим командирам и самому товарищу Сталину, который лучше всех людей на земле знал, что надо делать простому солдату, и потому сомнений у дедушки в правильности его поступков не возникало. Даже когда он останавливал посреди тайги или в мерзлой степи длинный лагерьный поезд и вместе с другими начальниками выгонял из вагонов зечек, только туда загруженных на пересылке, и долго шел мимо них, выбирая себе самых здоровых и крепких на вид, а потом всю дорогу насиловал, то делал это легко и уверенно, зная, что высшая власть всегда одобрит его без лишних упреков и слов.

Он всегда казался Люде цельной фигурой, словно высеченной из камня, он и ушел обратно в бесформенный камень, умерев тихо во сне. Она хорошо помнит, как за ним приехала перевозка, и его поднимали с кровати, словно фигуру из мрамора, застывшую в странной задумчивой позе сидящего на боку с рукою под головой, и никакой силой не могли его разогнуть. Это было так странно, что даже сейчас она видит почти наяву, как несли его на носилках по лестнице вниз, не сумев укрыть до конца, и он возлежал на них, как древний патриций в тоге, подперев рукой голову, и словно прощался с закрытыми сном глазами с миром вокруг. Теперь на его месте, словно порушенная глупыми варварами красота Рима, громоздится посуда с остатками пищи и заготовками для салата, капустные кочаны, буханки хлеба, валяется нечищенная морковь и свекла, и бабушка плачет рядом навзрыд, жалея кота. И столь же мелкие души роятся вокруг нее.

Мать посылает ее в магазин, но на полпути Люда уже понимает, что надо срочно решать, что делать дальше. До полуночи еще далеко, но в доме, охваченном праздничной суетой находиться невыносимо, и скоро нагрянут родственники во главе с дядей, все еще питающим свои плотоядные помыслы в отношении Люды. Нет, она говорила о том матери много раз, но она смеялась в ответ и не верила, и теперь ей до ужаса не хотелось пересекаться с ним и его семейкой. Отстояв бесконечную очередь и вернувшись из магазина с полной сумкой продуктов, Люда хватает приготовленный со вчерашнего вечера здоровенный рюкзак, и пробираясь мимо них по стене, выходит из дома. На пороге мать хватается за шиворот. Они смотрят внимательно друг на друга, словно уличив в преступлении, пусть даже воображаемом или планиру-

емом, от этого она не становится менее гадким и подлым. Мать выпускает ее куртку, которую Люда уже готовилась скинуть, чтобы бежать, из рук, и кричит ей в спину:

– Смотри у меня, черта нерусского не приведи!

Ах, только это!/? Люда хохочет с облегчением, выбежав из подъезда, как будто мать в своих страхах выбрала самое меньшее из всех зол, и девчонке теперь смешно оказаться совсем неразгаданной. Она удивляется, как далеко они с матерью теперь друг от друга, но ее нарастающий семейный разрыв не очень и беспокоит.

На улице сильно метет. Она садится в автобус, потом маршрутку, и долго едет на другой конец города, холод пробирает ее до костей, и она кутается в дополнительные шарфы, которые напихала в рюкзак впопыхах. На окраине она выпрыгивает из машины, и бодро и торопливо, чтобы согреться, бежит по пустынным улицам к последним домам, тускло освещенным немногими фонарями. Впрочем, место, куда Люда спешит на ночь глядя, освещено хорошо в ночи, а сегодня тем более, под новый год. Ворота, однако, закрыты, да и кто в темноте потащится в такую даль. Но Люда настойчива, как никогда, эту привычку упорствовать она выработала еще за время слежки за капитаном, и теперь к любому делу подходит с тем же упорством. Она долго трезвонит в звонок, бегает вокруг забора, дразнит цепную собаку, колотит в железную дверь каблуком.

В железном окошке, словно в огромной двери в тюремную камеру, появляется испитое лицо старика. Он уже знает Люду, она тоже привыкла за этот год к нему, и они друг другу нисколько не удивляются. Старик долго гремит стальными засовами, хотя при желании мог пропустить ее в потайную калитку, но закон есть закон, и нарушать не положено. Она входит несмело внутрь и смотрит за замеченные снегом аллеи. Вокруг темно, но фонари прокладывают ей путь в самую глубину, под запорошенные кроны согнувшихся от тяжести новогоднего снега деревьев.

– Опять к нему? – спрашивает он для порядка.

– Как всегда. Мог бы уже и запомнить, – без всякого раздражения кивает она и поправляет рюкзак и длинный тяжелый сверток у себя за спиной.

– Давай, послежу, – машет старик ей рукой в вязаной варежке.

Люда торопливо идет, загребая ногами сугробы, по аллеям старого кладбища, туда, в самую глубину, заросшую густыми кустами. Памятники наползают на нее со всех сторон, и чем дальше заходит она, тем они подступают все ближе, вылезая из зыбучего снега, словно несрубленные пеньки. Кресты стоят строем среди деревьев, там и сям мелькают в чаще гранитные лики и головы, но ее эти копии мертвецов не очень интересуют. Ничуть не страшась их, словно у себя дома, вполне по-хозяйски, она шагает через сугробы по узкой дорожке, пока не приходит к разлапистым елям на перекрестке. Уже совсем близко. Она снимает сверток с плеча, так уже легче идти, и смотрит по сторонам. Наконец видит знакомую черную стелу на бугорке за оградой, занесенную снегом наполовину. Здесь.

Она пробирается к ней, расчищая наметенный за эти дни снег припасенной детской лопаткой, входит в калитку, едва поддающуюся ее неумелым рукам. В прошлый раз все удавалось ей легче, но тогда, может быть, тут было расчищено и утрамбовано недавними похоронами. Сейчас, похоже, за последние месяцы тут побывала она одна.

Она распаковывает длинный сверток, освобождая его от слоев газетной бумаги, словно вилок капусты, купленный с рук на рынке, и ставит елку прямо в снег перед стелой. Елка маленькая, но разлапистая и пышная, Люда долго выбирала ее сегодня на рынке, когда ходила для матери в магазин, и успела даже побороться из-за своей дотошности с торгашами-армянами, ранее на том же месте продававшими всю осень арбузы и дыни. Утвердив елку, как следует, в мерзлой земле, она ставит рядом рюкзак, и начинает из него доставать тщательно завернутые в бумагу и спрятанные в коробки игрушки, нанизывая их на стелые веточки. Пальцы не слушаются на морозе, Люда дует на них, согревая под курткой, но не успокаивается до тех

пор, пока последняя из стекляшек не насажена на усыпанные иголками ветки. Люда смотрит внимательно, елка удаётся на славу, но освещения не хватает, и она достает набор новогодних свечек и усаживает ими развилки ветвей. Много времени уходит на разжигание, спички ломаются и гаснут под порывами ветра, она чуть не плачет от холода и усталости, но продолжает упорно задуманное до конца.

Все готово. Она отступает в сторону и смотрит на могилу, любуясь ею, как любовалась когда-то дома вместе с дедом, когда они вдвоем наряжали елку под новый год. Теперь она делает это одна, но навыки еще сохранились, и Люда даже сама себе удивляется, как ловко и красиво ей сегодня все удалось на морозном ветру. Пламя свечей трепещет, но даже не гаснет, игрушки мерцают своими круглыми налитыми боками, и вид украшенной елочки на могиле приводит ее в некоторое оцепенение. Ей и смешно, и боязно одновременно, но сегодня она довольна своим потайным делом, которое удалось исполнить настолько легко, что даже осталось время посидеть и подумать. Она присаживается на корточки перед могилой, на которой золотыми буквами по граниту выбито имя дедушки и дата его внезапно случившейся смерти, и старается вспомнить, но почему-то никак не может вытащить из своей памяти его лицо. Фотографии тоже нет, и это ее смущает. Лицо деда постепенно изглаживается из сознания, обрастая ранее не существовавшими подробностями, большими щеками, мохнатыми густыми бровями, волосами, пучками торчащими из ноздрей, и густой бородой, но Люде уже трудно сказать, было ли все это у дедушки или нет. Она заворожено смотрит на мерцающие огни свечек на елочке, и ей хочется теперь хоть немного знать, напрасно ли она затеяла этот свой поход в новогоднюю ночь или нет. Она еле слышно бормочет себе под нос, но так, что голос ее все же понесся по ветру:

– Слышишь ли ты меня?!

Ветви елей над головой в вязаной шапочке шумят и скрипят, осыпая ее хлопьями снега. Сквозь свист зимнего ветра голос, как в детской сказке, напроць теперь забытой, ей чудится чей-то знакомый голос, и хотя надежды почти не осталось, кажется, он все-таки отвечает, ворочаясь там, у себя, в новом жилище, под землей и сугробами.

И тогда она без слов понимает его, склонившего над ней сверху мохнатые брови. Ее рука застывает словно в бесформенном пионерском салюте, держась ладонью за лоб, пульсирующий и горячий, в голове, отдаваясь звоном, звучат команды и несутся первые указания, и план возмездия неверному жениху и его новой пассии складывается сам собой, как по мановению волшебной палочки, и Люда сидит в сугробе над засыпанной снегом могилой, счастливая и довольная.

Большая жизнь впереди.

Мой брат – метатель молота

С самого детства Азамат мечтал попасть в большой город. Село, где он жил, лежало в отрогах снеговых, с вечными ледовыми шапками гор, напоминавшими папахи седых пастухов, в долине, куда вели всего две дороги, и обе в другие деревни. Той, что шла выше, он никогда не пользовался, если только не приходилось вместе с дедом искать сбежавших овец, там жили нехорошие люди, враждовавшие издавна с их огромной семьей, а по той, что спускалась вниз, часто бегал к друзьям и соседям, там же была его школа, а за тем селом лежало еще село, а за ним и другие, словом, даже до маленького городка Азамат так и не смог добраться все детство.

В его мечтах город всегда был огромным и вырастал до небес, словно далекие снежные пики, поглядеть на которые он с ребятами ходил по верхней дороге в хорошие дни. Они были седые и строгие, словно его дед Азиз, и возвышались в далеком тумане, как грозные часовые, маня сладкой иллюзией, что до них можно легко дойти за день или два. Но это было не так, и взрослые, боясь за своих ребятишек, каждый раз объясняли им, насколько они ошибались, показывая старую карту геологических изысканий с выцветшим штампом «Секретно», украденную из лаборатории, где были нанесены все четкие координаты и расстояния местности. По ночам, пугая их перед сном, рассказывали истории про ребят, которые пробовали когда-то дойти туда сами и не вернулись, называли даже фамилии, их Азамат не слышал никогда.

Впрочем, он знал, что горы опасны и таят в себе зло. Еще давно, когда мальчику было лет пять, отец Азамата упал в большую расщелину и так повредил себе ногу, что больше не смог работать геологом, искавшим в горах руду, никель и марганец, и прочие редкие минералы. Он загрустил и запил, и даже дед Азиз не мог ничего с ним поделаться. Теперь семья занималась разведением коз и овец, у деда давно была большая отара, и с ранней весны он гонял ее с помощью Азамата по лежавшим выше лугам, ссорясь с другими владельцами живности и местным начальством. В ссорах активно участвовала и баба Зарема, как называл Азамат свою бабушку, она приходила на помощь деду в самый опасный момент и брала ситуацию в свои руки, и от противника только перья летели, как любил потом говаривать дед. Да и неудивительно, бабушка всегда была важной птицей, она уже сорок лет работала в школе учительницей русского языка и литературы и знала, кому что сказать.

По горам за отарой и в магазины дедушка ездил на мотоцикле и неизменно брал Азамата с собой. Он любил эту диковинную машину, сверкавшую хромированными частями, фыркавшую бензином и угрюмо рычащую на обгоне и скачке по бездорожью, как дикий зверь, мощно несущий по кочкам своих седоков, и все свободное время проводил с дедом в сарае, где тот разбирал, чистил и смазывал детали железной лошади, как старик ее называл. Мотоцикл подарил деду дядя Анзор, брат матери Азамата, приехав однажды откуда-то с самого низу, из города, как сам он говорил постоянно за большим семейным столом. Мать Азамата Манана не могла наглядеться на брата, бывшего редким гостем в семье. Рассказывали, что он был еще более важной птицей, чем баба Зарема, и занимал где-то большие посты, но Азамат так и не смог это выяснить, и очень гордился дядей перед всеми мальчишками. Дядя ходил по селу важный, надутый, и шикарно одетый для этих мест, в кожаном пиджаке «Армани», джинсах «Ливайс», и с часами «Ролекс» на запястье правой руки, которые демонстрировал всякий раз, здороваясь с односельчанами, подавая им для пожатия кончики пальцев, как всякий солидный мужчина, и подкручивал густые усы, в которых блестела уже седина. Местное начальство в лице председателя и двух депутатов тоже заглядывало к нему, вежливо кланяясь и справляясь о здоровье жены и детей, которых у него по какой-то причине не было, и заодно притаскивая с собой скромно переминающихся за спинами ходоков и просителей по всяким мелким делам, и дядя солидно им представлялся:

– Анзор Месцвеноргджигусети, можно просто Сцвания.

На занятия спортом Азамата тоже подбил дядя Анзор, открывший спортивный талант у брата, что, впрочем, никого в семье особенно не удивило, хотя долго еще после его отъезда Азамат мучился комплексом своей мнимой неполноценности, внушенной зачем-то шутником и весельчаком дядей. Что только не перепробовал к этому времени старший брат Азамата, красавец и гордость семьи Фархат, совсем не похожий на младшего мелкого, как он его называл. Он занимался и боксом, и вольной борьбой, самбо и карате, и даже стрельбой из лука, который соорудил сам, пока дядя не надоумил его стать метателем молота. Этот редкий вид спорта пришел дяде в голову, когда у него на глазах Фархат, разбираясь с обидчиками младшего брата, еще бегавшего с матерью в детский сад, метко запускал куски кирпича по их огородам и окнам, а потом сбил булыжником стоявший на крыше правления флагшток с государственным знаменем. Утихомирив обиженных, требовавших сатисфакции за племянника, дядя только укрепился в своем намерении сделать из брата спортсмена, и сообщим тем же вечером отцу Азамата и деду о безумной своей идее. Им она безумной не показалась, и Фархат был отправлен в спортивную школу двумя селами ниже, и за его поступление вне всякого распи- сания тоже заплатил щедрый дядя Анзор.

С этого времени Фархат почти каждый день ездил сам или с дедушкой на его мотоцикле на занятия в школу, и Азамат ему страшно завидовал, гордясь своим братом перед товарищами во дворе. Так продолжалось два года. Потом Азамат пошел в школу, а дядя забрал Фархата с собой, собираясь отдать в спортивную секцию в большом городе, и с той поры Азамат его больше не видел.

Где-то далеко уже шла война. Через село шли в горы колонны танков и техники, потом они отступали, откатываясь назад, потрепанные и обгоревшие, и вместо них вдаль летели низко над селом вертолеты. Овцы боялись их и носились по полю, сходя с ума, у коз пропадало молоко, и дедушка ругался и сыпал проклятиями на бездушную технику: «Чтоб вы сдохли, как эти несчастные, чтоб вас черти в аду разорвали!». Вслед за отступающей техникой через село шли партизаны, грязные, оборванные, уставшие, их поили в селе молоком и кормили свежей бараниной, запеченной дедушкой на углях, накрывая на всех небогатый стол. Азамат бегал с друзьями на перевал смотреть со склона горы, как далеко внизу, в ущелье и на дорогах по ту сторону большого хребта горели грузовики и бронемашины, они слышали звуки выстрелов и дальних тяжелых взрывов, эхом отражавшихся в отвесных ущельях. В конце зимы от внезапной пальбы срывались лавины, они шли вдали на соседних склонах, снося все на своем пути, и мальчишки, затаив дыхание, смотрели на рушащиеся снежные горы, сметавшие под собой леса и деревни, и радовались тому, что над их селами боев не было никогда.

Азамат тогда уже ходил в школу, она продолжала работать, несмотря на войну, только во время обстрелов школьников по приказу директора распускали временно по домам. Азамат не любил эти вынужденные каникулы, ведь всю упущенную программу приходилось наверстывать летом, когда другие ученики отдыхали. Долгими вечерами он сидел с дедушкой у костра и слушал истории партизан о войне, о засадах и перестрелках, о сбитых самолетах и взорванных танках, о пленных и предателях, о заложниках из родственников бойцов. Дедушка вспоминал свои боевые годы, совсем молодым он воевал в глубоком тылу врага и знал столько всего о противнике, что даже бывалые партизаны дивились его историям. Азамат слушал его с упоением, дедушка был хороший рассказчик и обладал цепкой памятью, повествуя в свете костра под звуки домры о своих подвигах, словно древний сказитель.

Прошло 4 года войны, а Фархат все не приезжал и не приезжал, и вестей от него почти не было, кроме коротких писем по электронке, получаемых с разных адресов у друзей: «Жив, Здоров. Люблю и помню». Этого было мало, мама и баба Зарема откровенно горевали над ними, когда Азамат привозил с дедом на мотоцикле их короткие распечатки, а узнать побольше о нем у дяди Анзора, хитро молчавшего всякий раз, было решительно невозможно. Азамат уже

всерьез занимался спортом, подражая своему пропавшему брату. Война как-то неожиданно кончилась в одночасье, войска и партизаны, наконец, схлынули, словно их и не было вовсе. Над селом, наконец, установилась твердая власть, и в один далеко не прекрасный вечер на Азамата, уже выросшего и ставшего подростком, плечистым и рослым, словно назло насмешкам старшего брата, вдруг обратили внимание. Он занимался борьбой вместе с другими ребятами, под началом старого учителя физкультуры, бывшего когда-то давно, в советские времена, чемпионом республики, жившим в верхнем селе. Тем вечером на закате, когда Азамат со старым тренером, сидевшим на скамеечке посреди двора, и парой своих друзей осваивал приемы борьбы, за ним приехали из милиции. Азамата позвали из-за ворот, словно боясь заглядывать внутрь, и когда он, ничего не подозревая, ответил, думая, что это от деда, велели немедленно выходить. Азамат не стал спорить и ничего не спросил, он понял, что что-то случилось. Его повезли высоко в горы по бездорожью, где, как говорили мужики в камуфляже между собой, была у них база. Азамату стало страшно, но он молчал и крепился, понимая, что он мужчина, и начинается новая жизнь.

Привезли Азамата не в тюрьму или лагерь с заложниками, о которых он столько раньше слышал и которых ужасно боялся, а и вправду, на самую настоящую спортивную базу, новенькую, недавно отстроенную, с огромными спортзалами и коттеджами среди низкого леса. Принял его на месте какой-то майор в камуфляже, светловолосый, веселый, энергичный, насмешливый человек с густыми усами и двумя пистолетами, один он носил на поясе, а другой в кобуре под мышкой. Азамата посадили напротив него в большом кабинете и велели ждать.

Время шло, но майор, казалось, не замечал Азамата, и тот заскучал. Разглядывая картинки и фотографии на стене и на столе рядом с майором, он обнаружил множество незнакомых лиц, но среди них была одна, на которой в группе людей, одетых в спортивную форму, был снят и его брат Фархат, во всяком случае, глаза Азамата вспыхнули пламенем, когда он его узнал. Майор тоже заметил его порыв, поэтому тотчас прикрыл фотографию с братом бумагами, встал, скрестив на груди руки, прошелся перед молчавшим подростком и присел в раздумье на край стола, глядя ему в глаза.

– Скажи, Азамат, – спросил он вдруг, словно был хорошо с ним знаком. – У тебя уже была женщина?

Смущенный таким вопросом, Азамат невольно потупился, хотя скрывать ему было нечего, да и придумывать глупости на эту щекотливую тему, как он любил делать со своими друзьями в селе или школе, тут было совсем ни к чему. Они и так, видно, все про него знали.

– Нет, – стыдливо покачал он головой, удивляясь сам тому, что говорит. – Не было.

В самом деле, удивленно подумал он про себя, откуда бы ему взять тут женщину, если все они кругом были гораздо старше его, а девушек из страха войны давно отправили из села к родственникам в Россию, а те, что еще оставались и ходили в школу, принадлежали к таким важным семьям, что к ним было лучше не приближаться.

– А хотел бы? – спросил насмешливо усатый майор.

– Кто ж не хочет? – улыбнулся он, робея внутри себя от неожиданного вопроса, к которому был никак не готов.

– Стало быть, не откажешься? А если я предложу свою дочь? – продолжал спрашивать майор, как ни в чем не бывало, и опять испытующе поглядел на него.

Азамат посмотрел на майора, словно на сумасшедшего, и потупился, не зная, что и сказать.

– Не веришь? Все вы такие, не верите слову русского офицера, – продолжал говорить с усмешкой майор, и Азамат сжался на месте, твердо решив больше не отвечать, словно каждое слово, сказанное им сегодня, могло означать приговор. – А ведь я пока по-хорошему предлагаю. Что ты молчишь, Азамат? Или девка не нравится?

Он вдруг повернул к Азамату одну из фотографий, лежавших до того под бумагами, и тот покраснел от стыда, увидев перед собой черноглазую голую девушку с большими грудями, смазливо улыбающуюся, закусив свешивавшуюся на лицо прядь волос. Такими нескромными фотографиями они с друзьями увлекались в школе, скачивая их в интернете, прекрасно зная, кем были на самом деле такие девицы, и слышать из уст майора о том, что одна из них его дочь, Азамату было не по себе.

Майор встал со стола и прошелся по комнате, ероша густые волосы пшеничного цвета, очень идущие к его жесткому, мужественному, но и такому насмешливому лицу. Было видно, что майор находился в своей тарелке, на своей земле, и играл в ту игру, в которой все ходы, сделанные его противником, все равно работали на него, опытного и хитрого офицера разведки. Он встал у окна, принюхиваясь к свежему весеннему запаху, тянувшемуся из форточки, словно испытывая несвойственное людям подобной профессии наслаждение, и произнес:

– Считаете нас зверями, насильниками, а когда я свою дочь отдаю, не верите. Думаете, я шутить собираюсь, разыгрываю? Хочешь, сейчас докажу, Азамат. Скажи, где твой брат?

Азамат встрепенулся и поднял глаза на майора, задавшего внезапный, сбивающий с ног вопрос, и тот понял, что угадал, нашел слабую струну в душе паренька.

– Ага, сразу вспомнил?! – обрадовался тот и покачал головой. – А то мы все тут в недоумении, понимаешь. Все про вашу семейку знаем, а вот про брата ни капельки, как сквозь землю пропал, будто черт. Где Фархат, отвечай?

– Спортом занимается, – тотчас ответил ему Азамат решительно, ухватившись с радостью за известия о Фархате, пусть даже из уст этого страшного человека. – Он чемпион в Москве. Сам писал.

– Писал? Или опять придумываешь? – наклонившись ближе, спросил его майор повнимательнее.

– Может и не писал, но дедушке звонил точно. Или не дедушке, а отцу. Или не он, а дядя... – путаясь, стал вспоминать Азамат неувереннее, но тотчас понял и то, что толком не может сказать про Фархата, чем он занимался, где жил и даже кто разговаривал с ним из родных в последнее время, как будто рассказы о брате стали уже легендой наравне с песнями и байками дедушки о былом. И Азамат снова потупился со стыда.

– Ладно, Азамат, – вдруг сказал майор насмешливо и миролюбиво, как отец согрешившему блудному сыну. – Поезжай домой, вспомни, как следует, а завтра или еще вдругорядь мы за тобой придем. С дочкой моей познакомлю. Ты ничего не подумай, хороший она человек. Верный, порядочный, не такая, как многие тут у вас. Как невесту царь, отдам в награду тебе, если поможешь в деле. Ступай с Богом, сынок!

Растерянный, Азамат вышел на свежий воздух. Его никто не задерживал, лишь смотрели вокруг мрачно проходившие мимо бойцы в камуфляже, да рвались с поводков собаки у патрулей. Какой-то сержант, высоченный детина, косая сажень в плечах, взял Азамата за локоть и отвел за ворота, пояснил коротко, как спуститься сквозь лес с горы на опушку, к дороге, добраться до остановки, а там проходящий автобус его подберет. На автостанцию они сообщат, чтобы взяли, а для того, чтобы найти нужную остановку внизу, у Азамата есть еще полчаса. Или останешься здесь, в лесу навсегда. Сказавши это скороговоркой, сержант громко захохотал, хлопнул паренька по спине, и тогда, почти скинутый им с горы, Азамат побежал.

Никогда в жизни он еще так быстро не бегал по лесу, прыгая через кусты и поваленные деревья, ища наугад дорогу, и боясь опоздать на последний автобус в жизни. Деревья были над ним, раскачиваемые диким ветром, словно волки, скрипя и стеля, и Азамату казалось, будто, уже осознав ошибку, за ним по пятам гонятся русские во главе с усаатым майором, крича и размахивая оружием, собираясь вернуть назад. На крутом склоне он поскользнулся в сырой прошлогодней листве, покатился кубарем вниз, попал в грязь лицом и руками, но вскочил, не отряхиваясь, едва не сломавши ногу, и помчался дальше стремглав. Он не знал, как долго длился

его сумасшедший бег, радуясь лишь тому, что был готов к испытанию благодаря изнурительным тренировкам, причиной которых стал некогда старший брат. Если бы Азамат не мечтал быть таким, как Фархат, и не убивал силы все на занятия спортом, не успеть бы ему сейчас на автобус. Он увидел его еще издали, несущимся по шоссе под ногами, и долго мчался, раздирая руки и лицо торчащими сучьями в кровь, не отставая, по краю обрыва над ним, пока его не заметили снизу. Автобус остановился у поворота, когда Азамат сбежал по отвесному склону, мокрый, грязный, измученный, и уже не раздумывая, прыгнул в распахнувшуюся дверь перед ним. И с изумлением огляделся. Он был в салоне совсем один.

Он вернулся домой уже затемно, грязный и испуганный происшедшим, и ни слова не говоря, пошел в ванную отмываться. Он долго тер себя губкой, словно пытаясь смыть под жидкой струей воды всю мерзость, которая с ним не случилась, но могла случиться на базе, едва лишь задев своим крылом и накликав беду. Завороженные его затянувшимся молчанием, родные тоже примолкли, и мать долго стояла возле дверей, запертых им изнутри, прислушиваясь к странному бормотанию, доносившемуся сквозь льющиеся струи воды, но ничего не могла разобрать. Дедушка обнял ее за плечо и увел в спальню. Затем он тихо постучался в ванную, а когда Азамат не открыл, ножиком хитро поддел задвижку и вошел внутрь. Азамат сидел в ванной под струей горячей воды, стекавшей из нагревателя в душе, поджав под себя ноги, и тихо плакал.

В ту же ночь, выпросив все у внука и придя от услышанного в тихий ужас, дедушка связался по телефону с дядей Анзором, и уже на другое утро, бросив овец на бабу Зарему, отвез его на своем мотоцикле далеко вниз, к подножию гор, на станцию, и отправил с наскоро собранными вещами на проходящем поезде прочь. Азамат ехал без билета на третьей, самой верхней багажной полке, закрывшись от проводников одеялами и старым картоном. Он ехал в свой большой город, вспоминал дедушку Азиза, бабу Зарему, мать и отца, и дядю Анзора, и одноклассников, и понимал сквозь душившие по-прежнему волнами слезы, что его детство кончилось. Он не знал еще, кто его будет встречать, зажав в кулаке коряво выписанные на клочке пожелтевшей бумаги телефоны и адреса, впопыхах продиктованные деду сквозь треск и шум из Москвы дядей Анзором, и свято верил в то, что из задуманного на ходу дедушкой что-то получится, не может не получиться, потому что старик, несмотря на свои восемьдесят с лишним лет, был еще в здравом уме и хорошо понимал, что внука надо передать из рук в руки под надежную охрану семьи.

В поезде было шумно, пахло потом, тухлятиной, какими-то едкими специями, из коридора, то и дело хлопавшего дверями в тамбур, несло женской мочой. Стараясь не дышать с непривычки, Азамат отвернулся и забился подальше в угол, откуда его не могли бы достать никакие проводники. Там он заснул, а когда проснулся, поезд уже весело шел по русской равнине. Он высунулся из своего убежища и огляделся, привыкая к раннему молочному утру за наглухо закрытым окном. Народ, ехавший вместе с ним со вчерашнего вечера, когда с помощью деда он сел там, в горах, волшебным образом, словно по мановению джина из Алладиновой лампы, переменился за одну ночь. Теперь вместо осетинской семьи с множеством ребятишек, и каких-то пенсионеров из горной деревни, торопившихся на базар с мешками пряностей и овощей, с ним вместе ехали совершенно иные люди, к одному виду которых, не говоря уж о привычках, присказках и прочих дурных манерах, он просто не мог привыкнуть. Они входили все вместе в каком-то огромном городе, с криками и руганью загружая свои чемоданы, и испуганно ахали, замечая над собой Азамата, занимавшего багажную полку. Севшие напротив неопрятные и немолодые женщины тотчас стали ссориться с какими-то мужиками внизу, требуя уступить им нижние полки, мужики упирались, долго и беззлобно огрызаясь на них, а потом почти сразу начали пить и не просыхали уже до самой Москвы. Наругавшись вдоволь, тетки тоже присоединились к застолью, от соседних лавок, словно мухи на огонек, потянувшись к ним молодежь. Едва заняв свое место, пассажиры немедленно приступали к еде, будто только

для этого и выбрали долгую поездку в вагоне, разворачивали нехитрую снедь, лупили яйца, доставали спичечные коробки с солью, вынимали завернутую в газету курицу. Курица была пахучей и жирной, и на ее желтых печеных боках виднелись черные отпечатки газетных букв. Вокруг ругались и пили, за стенкой стоял неумолчный младенческий плач, иногда кто-то спотыкался о ноги, выставленные в проход, и втихаря матерился, где-то брэнчала гитара. Поезд шел на Москву.

Азамат заснул снова, свернувшись на своей полке калачиком, без одеяла и простыни, подложив под голову куртку, всученную бабушкой в последний момент при бегстве из дома, и спрятав в ногах крепко зажатый рюкзак, собранный дедом и матерью. Деньги, которые вытаскивал дедушка из старого надежного тайника и отдал Азамату, он спрятал в кармашек, пришитый матерью к трусам изнутри для этого случая, и хотя лазить за ними было весьма неудобно, он не боялся, и даже заплатил седому усатому проводнику, чтобы его не будили. Когда он проснулся, поезд уже подходил к Москве, за окном неслись унылые облезлые пригороды, а его самого кто-то энергично тряс за плечо.

– Подымайся, приехали, блядь! – раздался над ухом хриплый и грубый голос.

Азамат вскочил, схватив свой рюкзак, ловко и быстро сиганув с полки и, не оглядываясь на будившего его изрядно опешившего толстого, с огромным пузом, как у беременной, мужика, от которого разило дешевым пивом, прошмыгнул мимо к дверям. Седой проводник отвернулся от мальчика, делая вид, что роется в мешках с траченным постельным бельем. А больше Азамата никто не заметил.

Он вдруг понял, что его все боятся. Это и пугало радовало одновременно, и внушало уверенность, что даже в таком большом городе мальчик не пропадет. Он обнаружил это внезапно, как только сошел с поезда и зашагал по перрону в метро, следуя за диковинными указателями на огромной платформе. Турникет он преодолел запросто, перепрыгнув как на занятии спортом, и пожилые толстые контролерши даже не шелохнулись, демонстративно отвернув головы от него. Азамат сперва подумал, что ему это только кажется, но даже в вагоне, набитом доверху пассажирами, куда он влетел в последний момент, расталкивая замешкавшихся людей, вокруг него сразу образовалось свободное место, куда можно и сумку было поставить, и даже вольготно встать, и люди обходили его бочком, стороной, точно боясь зацепить даже взглядом. Азамату было прикольно его новое положение. Он даже толкнул нарочно здоровенного дядьку с пакетом, стоявшего перед выходом, и тот лишь нагнул низко голову, предпочтя промолчать покорно, и эта его покорность повергла в шок Азамата. Он выбрался на указанной в корявой записке станции, и весело и уверенно зашагал по длинной платформе к лестнице, ведущей в большой город, открытый ему неожиданно, словно консервная банка ножом.

Люди шли, огибая его, как будто в лице молодого черноволосого паренька видели нечто, не поддававшееся осмыслению, но порождавшее лишь ужас в глазах, словно при встрече с гадюкой или гюрзой на горной тропе. Азамат понял, что может тут все, как только вышел в город и двинулся по запыленным улицам между огромных домов, пользуясь указателями в корявой схеме, написанной ему дедушкой на обрывке бумаги. По дороге зашел в кафе, купил шаурмы, стал без очереди наугад, чтобы проверить свои подозрения. Здоровенный мужик у кассы дернулся, словно его ткнули сапожной иглой, и что-то заговорил, но едва Азамат взглянул на него внимательно и спросил, сколько времени, глядя невинно в лицо, испуганный усатый верзила отпрянул в сторону, словно отваливается большой камень с горы, смытый весенним ручьем. Азамат вздрогнул, с изумлением увидев в его раскрытых широко глазах дикий страх, как будто этот гигант, житель туманных равнин, увидел перед собой нечто такое, что приводит в священный трепет, сделавшись жалким и маленьким, как тушканчик, жмующийся в мокрой расселине. Открытие поразило юного Азамата до глубины души, и он вышел наружу, смеясь и давясь от хохота, как будто все его детские мечты, всплывавшие лишь в глубинах утренних снов, явились въявь перед мальчиком, заставляя уверовать против воли

в свою силу и всемогущество. Он зашагал к проглядывавшим вдали острым шпилям и башням на горизонте, туда, где в измятой и порванной схеме значился крестиком пункт его назначения, внедрившийся гигантским квадратным стеклянно-бетонным телом в плоскости бескрайнего города. Там его должны были уже ждать.

Рынок начинался за поворотом и уходил бесконечно вдаль. Внутри он казался бескрайним, насаженным тут, словно шатры Золотой Орды, поселением, вытеснившим местных из ближайших к нему кварталов, отсеченный железной дорогой от исторической части и сам ставший историей. Азамат вошел внутрь, словно в чрево, просочился в распахнутые огромные древние, обитые железными листами ворота, поразившись сновавшими всюду толпами, толкавшимися у прилавков с барахлом и одеждой в три яруса до крыши, уходящей невиданной длины рядами вглубь гигантского азиатского поселения. Всюду слышалась чужая древняя речь, гремели носильщики, испуская гортанные крики, остро пахло незнакомой едой. Пару раз ему наступили на ногу и отпрянули, он не обиделся, пошел внутрь, под мутные своды. Где-то там должен был ждать его человек от Фархата.

Азамат прожил неделю в самой глубине невиданного огромного рынка, громоздившегося уступами, со своими подземными улицами и поселениями. Здесь жили китайцы, вьетнамцы и камбоджийцы, деля подземный город под рынком на охраняемыми ими кварталы, языка местных они не знали, но им и незачем было. Работали мастерские, здесь что-то строчили и шили, в темноте вертели еду для развоза по ресторанам, где-то в огромных складах сортировали тряпье на продажу, где-то рядом мылись и стриглись, тут же неподалеку под землей был публичный дом, и когда Азамат проходил мимо, к нему липли молоденькие вьетнамские проститутки, кидались за ним вдогонку, хватали за руку дерзко и нагло кричали ором, зовя за собой, и он отбивался. Он жил в каком-то большом сарае, за стеной торговали шубами, и тяжелый спертый пропахший кожами дух висел неизменно в воздухе, и чтобы проветриться, он вылезал через люк на крышу и жадно дышал, глядя на бесконечное море скатов и пирамид, простиравшихся, насколько хватало глаза, до самых дальних домов. Напротив жили индусы, там же была их молельня с диковинными богами, и по утрам, прежде чем открыть павильоны, они все толпой уходили туда и кадили слонголовоу богу, Азамат не мог разобрать их язык, но они уже научились с ним объясняться знаками, размахивая руками. Новруз, который его поселил в закутке, знал Фархата, но не ведал, когда тот придет, он лишь послал ему весточку, знак вроде черной метки, вырезанный из газеты с условным словом, что брат его прибыл.

– Теперь запасись терпением, – сказал Новруз Азамату, сидевшему поутру в чайхане на задах за рядами, где обедали своей острой и пряной пищей индусы и пакистанцы в чалмах и с черными бородами. – Он не говорит, как приходит.

Азамат приготовился ждать. Ему было непонятно, почему его брат оказался столь засекреченным человеком, что никто не знал, как можно его найти, даже связанных от него никто не видел, пока они не являлись сами, рассылая от Фархата задания и принося в подолах своих плащей какую-то мзду, и всякий раз Азамат порывался за ними, прослышав об их появлении, но они уже исчезали в толпе. Жить в камерке под самой крышей, пропитанной запахом лежащей отсыревшей одежды, пряностей и специй, было невыносимо. По ночам вокруг него бурлила неведомая, непонятная прежде жизнь, где-то за стенкой насиловали проститутку, внизу, как смог он подглядеть сквозь щели в полу, курили гашиш, нюхали кокаин и кололи наркотики азиатские чернорабочие, худые, испитые, изможденные, днем напролет ворочавшие коробки с товаром и тяжелые телеги, на которых они медленно везли увязанный в узлы груз в другие концы огромного рынка. Сбоку от его жилища варили свою еду, в ней плавали какие-то змеи и насекомые, длинная неведомого вкуса лапша извивалась в их цепких пальцах, они ели руками, смеясь и покуривая анашу, и Азамат понимал, что город в городе, живущий своими правилами и законами, скоро проглотит его. Его пока не тревожили, отчасти по заступничеству Новруза, отчасти из-за имени брата Фархата, при одном поминании всуе которого даже

седые старцы-индусы в чалмах, сидевшие и, казалось, ничего не делавшие часами, уважительно качали своей головой.

– Пора! – как-то вечером, когда Азамат уже совсем пал духом, готовясь выбраться на крышу из люка и подышать свежим воздухом, сказал ему забравшийся по лестнице в склад, окружавший паренька массивными перевязанными тюками из Бомбея и Дели, доставленными накануне, Новруз. – Следуй за мной и не ошибешься.

– А там будет Фархат? – на всякий случай спросил его Азамат, прежде чем встать и собрать свои вещи, хотя, конечно, догадывался, что тот все равно соврет.

– Возможно, – уклончиво, но зато честно ответил ему Новруз. – Отделяй мясо от костей, юноша. Тебе брат нужен больше, чем ты ему.

Азамат возмущенно вскинулся и хотел было ему возразить, но осекся, вспомнив, что и в самом деле, не Фархат бежал к нему, а он к Фархату. Он схватил свои вещи, и спустился вниз за проводником, почесывая лицо, заросшее непривычной щетиной – бриться тут было негде, а ходить далеко в лабиринты гигантского поселения, полного чужих и совсем уже диких людей, он не решался. Даже мылся в соседней вьетнамской лавке, когда народ уходил и подсобка с раковинами пустела, тогда парень забирался в каморку подземной кухни и, раздевшись, неловко плескался под горячими струями грязной воды, наскоро вытираясь тряпьем, занятым у Новруза. Вьетнамки-уборщицы, запускавшие его внутрь, подглядывали из-за занавесок за парнем, раздевавшимся догола, и хихикали, глядя на его натренированное мускулистое тело, которым Азамат очень гордился. Он прикрывался рукой, грозил им кулаком и ругался, они прыскали в разные стороны с хохотом, но Азамату, считавшему малорослых изможденных поденным трудом азиаток чем-то вроде животных, разговаривавших на нелепом наречии, было, в общем-то на них наплевать, а вот если бы тут вдруг оказалась девушка из их села, он бы сгорел со стыда.

Новруз, не оглядываясь, шел вперед, расталкивая толпу, скапливавшуюся к вечеру вокруг своих убогих жилищ и складов. Лавки и едальни в сараях за штабелями товаров были распахнуты, оттуда тянулись смрадные запахи горелого мяса и едких, дерущих нос и глаза специй, несясь хохот и гомон множества голосов. В полутьме за углом дрались, возились в окружении свистящей толпы черные тени, ломая друг друга с хрипом и злобным клекотом, тут висел под крышами тяжелый дух запеченной селедки, поджариваемой на углях, от которого Азамата чуть не вывернуло наизнанку в первый раз, когда ондохнул его. В глубине большого склада, освещенного прожекторами внутри, куча зрителей хлопала мерно в ладоши и гортанными криками подбадривала кого-то словно на стадионе. Азамат не видел издали, что там творилось, но уже знал, что так проходят обычно петушьи бои, которыми увлекались все, как один, вьетнамцы и камбоджийцы. Он шел за Новрузом мимо, неся на плече рюкзак и не задавая вопросов.

– Мне ты больше не нужен, понял? – не оборачиваясь, в толпе вдруг сказал Новруз, и Азамат понял, что эти слова относились к нему. – Рагим узнал. Скоро своих пригонит. У него не люди. Шакалы. Сейчас тебя отправлю, и пусть шайтан разбирается. Я тебя не видел, ты меня не знаешь. Понял?

– Понял, – кивнул Азамат.

– Так и скажешь Рагиму, если найдет.

Азамат не знал, кто такой был Рагим, но от этого ему легче не стало. Его отвели на склады, где лежали штабеля ковров выше человеческого роста раза в два, тяжелые, пропахшие сырой шерстью и псиной. Хмурые узбеки переворачивали и сушили ковры на толстых жердях наверху, Перекладывая отсыревшие снизу. Азамат едва не закашлялся от удушливого, висевшего густой пеленой запаха, но Новруз не стал церемониться, показал на расстеленный на полу большой волосатый ковер и коротко приказал пареньку.

– Ложись. Кавказский пленник.

Понимая, что спорить с ним бесполезно, Азамат лег на ковер, подняв руки с рюкзаком вверх. Его тут же накрыли краем ковра, влажным и маслянистым, дохнувших острым запахом псины и крысиного кала, и вдруг стали переворачивать, закатывая в ковер. Азамат не тронулся, терпеливо ожидая дальнейшего, и лишь набрал побольше воздуха в легкие, чтобы удержаться напоследок. Он верил, что раз его брата тут знают все, то с и ним не может случиться ничего страшного. Его подняли в ковре и понесли, и он почему-то вспомнил сказку из «Тысячи и одной ночи», которую ему в детстве на ночь читала баба Зарема.

Новруз пригнал к воротам большой грузовик-бычок, уже загруженный коробками и тюками с одеждой, увязанной большими узлами, и ковер с Азаматом вместе с другими коврами загрузили на самый верх. Азамат не видел, куда его повезли. Он задыхался от пыли, страшно хотелось чихать и кашлять, руки его затекли от неудобного положения, но парень покорно терпел, зная, что все делалось с ведома старшего брата, который, конечно же, встретит его именно там, куда шел сейчас грузовик. Он подскакивал на выбоинах и колдобинах, пару раз опасно кренился, и Азамат чувствовал, что сползает в ковре куда-то вниз, чуть не падая с кучи товара на самый пол, но всякий раз удерживался неведомой силой в последний миг. После долгого пути, когда, казалось, ему уже не придется выйти наружу. Азамат вдруг почувствовал всем телом, что машина останавливается и дрожит, и потом лязгнули двери, и ковер с пареньком снова потащили наружу. Ударили головой о край кузова, но не больно, толстый ворс спас его, да и Азамат собрался во время падения. Потом положили на землю и раскатали.

Он сперва даже не понял, куда попал. Темный, почти черный ангар, едва освещенный тусклыми длинными лампами-трубками, выложенными вдоль стен, цепи и шкивы, ямы-траншеи, выложенные бетоном, груды металла по сторонам, и огромные колеса и шестерни неведомо от каких механизмов. Вдоль ям, словно могильщики у свежих захоронений, сновали молчаливые люди, заглядывая вниз, пробегая по стенам, с лязганьем полз под потолком на лебедке кран, где-то стучал его барабан, наматывая канаты. Азамат поднялся и стал на ковре, озираясь, и тут до него дошло, что это была то ли гигантская мастерская по ремонту больших машин, то ли портовый склад, где разгружали лебедками контейнеры с кораблей. Грузовик с распахнутыми дверями стоял позади, и молчаливые неулыбчивые узбеки выволакивали из него тюки с товаром, и, взвалив на худые плечи, в три погибели сгорбившись, тащили его в темноту, исчезая в ней, и опять выползая наружу. Как огромные насекомые, невольно подумал, глядя на них, Азамат. Точно таких он когда-то видел в игре у одного из своих приятелей на компьютере, за которым тот просиживал часы напролет. Сейчас это совпадение казалось пареньку удивительным.

Вдруг кто-то тронул его за плечо. Азамат вздрогнул от неожиданности, мгновенно представив себе, что это подкрался совсем незаметно к нему один из людей-насекомых, но обернувшись резко, увидел холеного мужчину с козлиной бородкой, смуглого и остроносого, словно один из разбойников или джиннов из той же восточной сказки, только сейчас он надел дорогой черный костюм без галстука и кожаный плащ-накидку, разговаривая еле слышно по телефону, прикрыв для верности рот рукой. На запястье поблескивал циферблат дорогих часов, отделанных то ли золотом, то ли драгоценными камнями, Азамат в них совершенно не разбирался, но понимал, что стоят они баснословные деньги. Заинтересовавшись часами, он уставился на козлобородого, не сводя глаз с руки, пока тот не заметил его пристального интереса, убрал руку в карман и разговор прекратил, и тогда кивнул Азамату, как старому знакомому своему.

– Фархата ждешь? Сейчас будет.

Азамат не спросил, как звали козлобородого, потому что неприлично было спрашивать незнакомца старше и главнее тебя, так учил его дед Азиз, и потом долго жалел об этом. Он стоял и смотрел на него, раскрыв рот, и не думал, что все вопросы закончились, а он не успел даже начать. Неожиданно дверь позади них обеих распахнулась широко, словно от удара

тарана, да и звук, раздавшийся в тот же миг, напоминал грохот молота о железо, и тогда яркие лучи фар осветили огромный склад. Люди бросились врассыпную, и козлобородый уже выхватил оружие из-за пазухи, словно держал его подвешенным прямо у шеи, чему удивился немедленно Азамат, наблюдавший за всем, словно в кино, оказавшись внутри экрана. Тотчас раздалась выстрелы, и козлобородый открыл огонь, и пистолет в его руке дергался, выбрасывая гильзы в стоявшего Азамата. Юноша опомнился в следующую секунду, и кинулся прочь, мгновенно сгруппировавшись, и покатился, как учили его в старой школе, спастись при внезапной стрельбе. Козлобородый успел рассадить фары, слепившие их издали, но и сам упал в треске и дыме, и Азамат, оглянувшись, увидел в несказанном ужасе и удивлении, как хлещет у него алая кровь из пробитой насквозь башки. Он больше не мог рассматривать погибшего козлобородого, не понимая, что происходит вокруг, но догадываясь, что надо спастись, и ринулся перебежками от него, ныряя за штабеля ящиков и контейнеры, громоздившиеся под лебедками до потолка. Крики эхом откатывались от железных стен ангара, оглушая его, и еще громче звенели выстрелы, с жужжаньем и скрежетом отдаваясь рикошетом по сторонам от него. Азамат полз к люку в полу, который увидел сразу за миг до того, как козлобородый, уже падая, сбил последнюю фару, и яркий свет погас, опустив юношу в темноту. По ангару уже бежали, выкрикивая имя Фархата, но паренек понял, что это были не друзья его, а враги, вызывавшие его прямо под пули. Он откинул неслышно крышку люка, оказавшуюся спуском в канализацию, и нырнул вниз, по колено в бурлящую холодную воду, обжигавшую сразу набравшие грязи и жижи зловонной его кроссовки, и пошел, стучаясь головой о железные потолки и стигаясь под ними в три погибели.

Запах стоял такой, что в голове Азамата немедленно помутилось. Он понял, что задыхается, что в путанице труб и колодцев он наверняка заплутает, и если не выберется сейчас, то или провалится и утонет, как провалился в щель в горе некогда его отец, или задохнется от вони, окутавшей его тотчас тяжелым и ватным маревом. Он увидел над головой отблески света, мелькавшие высоко в трубе, и цепляясь за крюки в бетонном колодце и железные скобы, удерживавшие связки тяжелых резиновых труб, пополз по ним прямо вверх, оскальзываясь на жиже, струившейся по стене.

Он и сам не понял, как выбрался оттуда наружу. Люк-решетка над головой сразу поддался его удару, отвалившись с грохотом на асфальт. Ярко светила луна, стены ангара были рядом, возвышаясь над осенним холодным ночным пейзажем, освещенным сигнальными прожекторами с портовых кранов и башен элеваторов, высившихся словно великие горы, над Азаматом из-за стен склада. Азамат испугался грохота, прозвучавшего в тишине, словно колокол на сторожевой башне, сложенной из камней, руины которых дедушка показывал ему высоко в снежных горах, да и топот услышал тотчас, долетевший из-за угла. Его будто выстрелило из люка, залепленного черной вонючей тиной и слизью. Где-то сзади бежали, неслись подкованные ботинки, кто-то гортанно кричал, но как на охоте, понимал Азамат, что спасут его теперь только ноги да горная хитрость, с которой когда-то с дедом охотился он на лисиц. Теперь охотились на него самого, и страх подступал ему к горлу, не давая вздохнуть и набрать себе лишних сил.

В темноте, стусившейся до непроницаемой пелены, после того, как прожекторы остались за стенами порта, Азамат исчез в переулках за большими домами, слыша рев протяжный сирен, несшихся в том направлении, где стреляли у него на глазах, но сам старался умчаться подальше, петляя и хоронясь за кустами, пока не упал и тогда уж вцепился в землю, дыша тяжело. Свой рюкзак со сменой одежды и прочими мелочами он оставил в коллекторе, тот зацепился лямкой за какой-то крюк намертво, и Азамат не стал там задерживаться из-за него. Это было плохо. Еще хуже было то, что листок с нацарапанными дедом каракулями намок в холодной воде настолько, что превратился в труху, слипшуюся мокрыми катышками на ладони, когда Азамат сунул руку за ним. Он уперся лбом в грязную землю и тихо заплакал. Ему было

жаль себя, оказавшегося в чужом неведомом мире, где все боялись и ненавидели тихо его, оставшегося в одиночестве, из которого не было выхода, было жалко брата, исчезнувшего в пустом времени, уходившем в прошлую жизнь, и казалось теперь, даже те странные весточки с чужих адресов, попадавшие ему изредка в руки, были сделаны иным человеком, лишь прикидывавшимся Фархатом, ему было жалко дядю, обещавшему ему помощь и жизнь, но так и канувшему в небытие вместе с несбыточными обещаниями, и даже козлобородого, с которым он не успел переброситься парой слов, чтобы понять до конца, враг он или друг, когда ему разmozжили голову за Азамата, который уже не стоил и ломаного гроша, и себя самого, украденного в ковре, тоже теперь было жаль. Азамат лежал, плача и сжимая кулаки до хруста в суставах. И вдруг кто-то тронул его за плечо.

Это было подобно удару тока. Он вздрогнул и обернулся, почти вскочил на ноги, уставясь на возникшее рядом лицо, будто оно выплыло, как луна из облаков, сгущавшихся над ним. Девушка и в самом деле была немного похожа сейчас на луну, круглолицая, бледная в темноте, с большими глазами, похожими на распахнутые горные озера в ночи. Азамат смотрел на нее и не понимал, что она делает рядом с ним. Она касалась его плеча и глядела с любопытством и жалостью, как смотрят на красивого, но бездомного пса.

– Идем со мной, – сказала она. – Здесь можно замерзнуть.

Азамат медлил, не понимая еще, шутит она или всерьез хочет ему помочь, у них в селе такими словами никто не бросался на ветер, но здесь все могло быть иначе.

– Ты не веришь? Или не слышишь меня? – спросила она серьезно. – Тогда оставайся тут, я за тобой не приду.

Она встала и повернулась, будто всерьез собиралась уйти от парня, лежащего на земле. Тогда он вскочил. Его слезы мгновенно высохли, хотя грязь заляпала все лицо и одежду, и голова слиплась из жижи зловонной из коллектора, будто он провел там целую вечность.

– Ты же не бомж, – спросила она, обернувшись и глядя на юношу.

– Я Азамат, – ответил неловко тот, не понимая, к чему она клонит.

– Тогда пошли. Только тихо, соседи не должны тебя видеть.

Теряясь в догадках, что же значило ее странная последняя фраза, он шел покорно за ней, понимая, что выхода нет, но почему-то страха в его душе уже осталось с тех пор, как она возникла возле него. Азамат еще озирался, чьи-то тени сновали на перекрестках между домами, но были всего лишь прохожими, робкими и пугливыми, как и он сам. Он уже хорошо знал, что не только все те, кто работал вокруг него на гигантской бескрайней ярмарке, но и жил в огромных стылых домах, страшились всего и не мыслили противиться сильным, владевшим оружием и державшим его наготове, и теперь обычаи здешние казались ему куда злее, чем те, к которым привык он в горах. Он ничего не спрашивал, надеясь лишь на силу рук и быстроту ног своих, если успеет скрыться, но девушка шла, не оглядываясь, уверенная, что ведет его за собой. Азамат ждал.

Они поднялись в один из длинных тяжелых, как массивные стены крепости, белых домов за стройкой, стоявший почти на отшибе, потонувший в осенней жиже, как и все тут вокруг. Он тихо поднялся за ней, следуя наугад в темноте, лампочки на лестнице были разбиты. Мелькнула странная мысль, что Рагим, от которого остерегал его накануне на рынке Новруз, и ждет его сразу за дверью, но ничего не случилось. Она отперла ключом железную дверь без номера, обитую дерматином, и оглянулась на Азамата, стоявшего на лестницу сзади.

– Ты меня не боишься? – спросил он на всякий случай, наслышанный про женские провокации.

– Если б боялась, то даже не подошла, – усмехнулась она, оглядывая оробевшего юношу. – Ты ведь приехал недавно, так?

– Откуда ты знаешь? – еще спросил Азамат.

– Сорока на хвосте принесла, – прозвучал нелепый ответ.

Она скосила глаза ему на ноги, и сам Азамат увидел, что с них стекает зловонная жижа, по колено в которой он только что шел в коллекторе. Ему стало стыдно.

– Как тебя зовут? – спросил он девушку, которая при ярком свете ламп из прихожей казалась еще красивее, чем в темноте.

– Ева, – коротко ответила она и распахнула дверь перед ним. – Идем, или ты на весь дом провоняешь.

Он вошел. Дверь с лязгом за ним захлопнулась, и Азамат на мгновение испугался, решив, что попал в очередную ловушку. Но девушка смотрела не него внимательно и настороженно, словно ожидала в гости его, и парень невольно расслабился под ее взглядом, озираясь по сторонам. Стены вокруг были обиты деревом, над головой вместо вешалки висели рога. Тусклый свет сочился из затененных абажурами люстр в прихожей и в комнате, и висел едва уловимый запах старинной мебели, вроде того, что знаком был с детства ему самому, и под действием этого почти родного, столь привычного духа Азамат невольно прислонился к стене и закрыл на мгновение глаза. А когда открыл, увидел, что девушки уже не было рядом.

– Иди, раздевайся и мойся, иначе я тебя не пушу, – услышал он голос ее из глубин квартиры. – Тебя как хоть зовут?

– Азамат, – ответил негромко парень. – А чей это дом?

– Отца. Тебе это важно? – выглянула она из-за двери в комнату.

– А где он?

– В командировке, – так же равнодушно сказала она, нырнув снова в комнату. – Будет через неделю. Так ты идешь отмываться, или мне тебя за руку отвести?

Ему опять показалось, что он снова дома, так похожи были ее слова на голос матери Азамата, и он испугался, что это она и есть.

– Сколько у меня времени? – спросил он еще неуверенней.

– Зачем тебе это знать? – прозвучал новый ответ, и парень в недоумении, словно магнитом притянутый, вошел в комнату.

Она сидела за столом и смотрела что-то в компьютере. Комната напоминала рабочий кабинет и была почти пуста, с креслом, стульями и большим телевизором на стене. Как будто в ней никто никогда и не жил.

– Ты не боишься..., – начал было он сам собой разумеющийся вопрос и осекся.

– Нет, не боюсь. Если что, у меня разряд по карате и кун-фу, а на входе сидит охранник.

– Я не заметил.

– Зато он тебя заметил. Уже позвонил мне снизу, пока ты мялся в дверях.

Она посмотрела на грязного, залепленного вонючей жижей парня в дверях и крикнула неожиданно громко.

– Марш мыться, живо! Сколько тебе говорить!

Прежде, чем отправиться прочь по взмаху ее руки в сторону по коридору, Азамат задержался на миг и спросил:

– А где твоя мама?

– Азамат, – сказала строго она, словно учительница в младших классах, не отрывая глаз от экрана компьютера. – Не задавай лишних вопросов. Или я закричу.

Азамат все понял и молча пошел в ванную. Она была большая, просторная, светлая, отделанная новой плиткой, с никелированными блестящими кранами и трубами, возникавшими словно ниоткуда из стен. Он закрыл на защелку дверь, разделся догола и пустил воду. Долго стоял перед ванной, слушая шум воды и глядя на хлеставшие струи из крана в облаке пара. За спиной его на двери было зеркало во весь рост, он оглянулся назад и удивился, увидев свое чумазое, вымазанное в зеленой жиже лицо, делавшее его непохожим на себя самого. Окинул в высоком зеркале взглядом мускулистую худую фигуру, напряг бицепсы, словно проверяя, осталось ли у него хоть что-то с собой из дома, и полез под летевшие брызги.

Он опустился в обжигавшую с непривычки воду, погружаясь в стремительно наливавшуюся ванну, закрыть слив которой поворотом кнопки он догадался с трудом, и замер, наполняясь раскаленным, прежде не испытанным теплом. Казалось, он плыл по небу на облаках, погружаясь в утробу матери, как иногда в детстве мечталось ему снова залезть, наслаждался покоем и уже старался забыть о всем том, что случилось сегодня. Ужас и смерть стояли от него далеко, словно они мелькнули в каком-то забытом кино, мельком просмотренном накануне, и Азамат уже воображал себе, как найдет непременно тут брата и уедет с ним вместе из города навсегда. Ему было хорошо, и он не заметил, как стал засыпать, погружаясь всем телом в воду.

Внезапно дверь приоткрылась, щелкнув задвижкой, которую, как оказалось, Азамат не сумел до конца запереть. Он вздрогнул и вскочил из напоздаввшего сна и едва не ушел с непривычки под воду, взбивая воду руками, увидев, как в ванную по половины просунулась фигура Евы, не глядя на смущенного парня, и подхватила с пола всю его загаженную одежду, которую он разбросал на полу.

– Постираю, – сказала равнодушно она и исчезла за дверью снова.

Азамат не успел ничего сказать, удивленный ее вторжением. Внезапно он вспомнил нечто, что заставило его тотчас похолодеть, и уже не стесняясь, перепуганный и похолодевший от страха, выскочил вон из ванной, подняв тучи брызг. Мокрые ноги, с которых лилась ручьями вода, разъехались по скользкому полу, он едва не упал, ударившись лбом о край ванны, но удержался, цепляясь за хромированные трубы, и кинулся вон, размахивая руками.

– Стой! Стой! Да погоди ты! – кричал Азамат, вспоминая, что в трусах, которые она унесла, был зашит кармашек с деньгами, которые насовала туда его мама, и если они попадут в мыльную воду с вещами, то...

– Ты чего? – стояла она удивленно глядя на него посреди кухни, сверкавшей мраморными поверхностями, перед большой стиральной машиной, распялившей уже люк для белья.

Азамат влетел в кухню и оробел. Глядя на остолбеневшую девушку, он вдруг понял, что стоит перед ней совсем голый, в мыльной пене, которую уже начал было наливать в ванну, со стекавшей под ноги водой, расплывавшейся длинными лужами по полу. Она смотрела на парня, смешного и нелепого одновременно, худого и жилистого, словно молодой подросток, с крепкими тренированными руками, которые тот тянул отчаянно к ней, с круглым еще детским лицом, облепленным сваливавшейся от воды густой шапкой черных волос, с глупо покачивавшимися гениталиями меж волосатых ног, и ее вдруг начал разбирать дикий хохот. Глядя на него, она выронила одежду на пол, скорчилась и уже хохотала в голос, а он, изумленный, бросился к ней, схватил с перепугу свои трусы с дурацким кармашком с деньгами, и, прикрывая ими пах, взял ее за руки. Она стала хлопать его по спине, хохоча, а потом вдруг их лица оказались сами собой рядом друг с другом, словно отражение в зеркале. Она перестала смеяться, глядя в его расширенные от испуга и изумления большие глаза, и вдруг обняла его и начала целовать. Азамат растерялся, но времени уже не было. Он слился с девушкой в поцелуе, ловя себя на испуганной мысли, как стало вдруг хорошо, и повалил ее на пол в лужу мыльной воды, стекавшей с него. И она сама помогла ему опытными руками войти тотчас в нее.

Они провели вместе много часов, и Азамат потерял счет времени, не ведая даже, день или ночь на дворе. Им никто не мешал. Иногда, приходя в себя от грызущего его чувства голода, он шел к холодильнику прямо из комнаты, где валялись они голышом на ковре, брал фрукты, яблоки или бутылку кефира и уносил с собой в спальню, ставшую его новым миром. Они лежали в обнимку и ласкали, изучая тела друг друга, потом он обнимал девушку и снова и снова входил в нее, словно потерявший разум молодой жеребец, и даже засыпал от усталости, лежа на ней ничком. Он позабыл уже то, как тут оказался и почему она пригласила его, не боясь и не стыдясь юноши, как будто он был знакомый ее чуть не с детства. Впрочем, Азамату не хотелось думать о том всерьез, он лишь мечтал о том, чтобы это тянулось и длилось вечно. И она не препятствовала, отрываясь от юноши лишь, чтобы сходить в туалет.

В какой-то момент он проснулся вдруг разбуженный лунным светом, падавшим сквозь незанавешенное окно. Девушка лежала с ним рядом, обнимая его рукой, ее тело мерно вздымалось в ровном сонном дыхании, свисавшие набок налитые крепкие груди покачивались, приводя парня в экстаз, но сейчас он сдержался, собираясь отлить. Он встал, осторожно спустив ее руки с шеи своей, и поднялся, и голый прошлепал в ванную, пошатываясь спросонья. Вокруг было тихо, как среди снежных гор, куда не ступает нога человека, и ему показалось, что даже во всем доме они были одни сейчас. Выйдя из туалета, он пошел было в спальню снова, но его привлекла открытая дверь на кухню и в гостиную вслед за ней. Подхлестываемый любопытством, Азамат уже совсем пробудился и тихо прошел на кухню, разглядывая стены, украшенные картинами и рогами оленей, с которых свисали игрушки, окна с большими растениями, похожими на деревья, мраморную столешницу и большой стол, пахнущий пряными запахами, холодильник до потолка. На холодильнике были прилеплены на магнитах фотографии и наклейки. Он подкрался к ним и взглянул, щурясь в призрачном лунном свете, впрочем, хорошо светившем вокруг. И тотчас похолодел, вглядевшись в посаженные на мелкие кусочки магнита дешевые фотографии. Он не мог ошибиться. Вместе с девушкой, совсем еще маленькой и постарше и незнакомой серьезной женщиной, обнимавшей ее, он увидел там усатое холеное лицо улыбающегося майора, который еще недавно на базе в горах допрашивал его и предлагал свою дочь Азамату. Парень не верил своим глазам, но и ошибиться не мог. Майор смотрел на него отовсюду, с фоток, с портрета коллективного в рамке над холодильником среди толпы военных, он маячил на стенах гостиной с диванами и большим телевизором и другой мерцающей красными огнями дорогой техники, куда заглянул Азамат, и всюду следил за ним улыбающимися холодными своими глазами. И тут Азамат вспомнил лицо девушки, фотографию которой показал ему майор на столе во время допроса, и тотчас узнал в ней Еву.

Опрометью он кинулся из кухни обратно в спальню, где лежала девушка на полу, но теперь страх поджаривал Азамата и заставлял его мчаться отсюда прочь, и он будто забыл про нее. Он подхватил с кровати свою одежду, уже выстиранную и высохшую много часов, а может, и дней назад, и не одевая ничего, кроме трусов с кармашком, выскочил сразу за дверь. На лестнице никого не было. Надеясь, что девушка ничего не услышала. Азамат на ходу натягивая одежду, понесся пешком вниз, прыгая через ступеньки. Пробежав много пролетов и ни разу не остановившись, он увидел в окно на площадке козырек подъезда, белевший прямо под ним. Он хотел было распахнуть это окно и выбраться на него, чтобы спрыгнуть, но подумал, что это будет глупо сейчас, в ночи, да и заметно, и спустился в подъезд, надеясь, что его никто не увидел. Он вошел в полутьму плохо освещенного тамбура и уже хотел нажать кнопку выхода, как вдруг внезапно тени со всех сторон метнулись к нему. Азамат не успел даже вскрикнуть. Перед глазами что-то сверкнуло, поплыли огненные круги, завертелись калейдоскопом, а затем он вслед за ними провалился в абсолютную темноту.

Избитый и окровавленный, он стоял на коленях на холодном полу в душном бетонном мешке подвала и плакал.

– Если бы ты знал, как я вас всех ненавижу! – тихо говорил ему усатый светловолосый майор, прохаживаясь вокруг Азамата кругами. – Всю вашу поганую расу. Вот она где у меня!

И он делал короткое режущее движение ребром ладони по горлу. Азамат не отвечал. Его приволокли в этот подвал сразу после того, как схватили и избили в подъезде. Теперь мальчику казалось, что усатый майор все это время был рядом и наблюдал исподтишка, прячась то ли в соседней квартире, то ли в комнате за спиной, и видел весь позор Азамата, его пребывание в странной квартире, с девушкой, назвавшейся его дочерью Евой, его нелепую детскую страсть к ней, соития и глупый отчаянный страх, с которым он ринулся прочь, обнаружив следы майора. Последнее приводило юношу в стыд больше всего на свете. А еще он подумал, что его сняли в квартире на пленку и теперь отправят родителям.

– Долго ты будешь молчать?! – заорал вдруг майор и поставил напротив Азамата колченогий стул, и сел на него верхом, положив руки на прогнутую спинку. – Я же могу по-иному с тобой, сука, поговорить. Запущу тебе крысу в жопу, не то запоешь у меня! Говори, где Фархат?! Он мне по жизни должен!

Майор снова прошелся вокруг Азамата, скрестив на груди волосатые руки с закатанными рукавами болотного цвета рубахи, и встал за ним, наблюдая, как дрожит от рыданий его спина. Затем он схватил Азамата за волосы и резко задрал голову вверх, заглядывая прямо в глаза.

– Ублюдок! Я же тебе горло перережу за то, что мою дочку трахал! Думал, я тебе всерьез разрешил?!

– Разве она твоя дочь? – нашелся, что спросить его, Азамат, и сам же похолодел от своей неожиданной смелости.

– Еще какая! – толкнул в досаде его майор, и Азамат, не устояв на коленях, упал на бетонный пол, едва не разбив себе нос. – Вам, обезьянам, она и не снилась! Таких девок у вас просто не водится отродясь!

Он отошел от него подальше и набрал по мобильному чей-то номер, проговоривши вполголоса, но так, чтобы парень все слышал.

– Чайка, спустись за щенком. Приковать и ждать моего сигнала. – И повернулся к мальчику, посмеиваясь в усы. – Ловко она развела, Азамат?! Удерживала до моего появления. Я ведь знал, что ты от нее не уйдешь! Жаль, что ты ей ничего не сказал про Фархата. Я на это надеялся...

В подвальный бетонный мешок, гулко стуча подкованными сапогами, вошли два здоровенных, упирающихся макушками в потолок, мордатых спецназовца, раздавленных, точно квашня на дрожжах, и небритых, в сером зимнего образца камуфляже. Они подхватили с пола легкого Азамата, поднял под мышки, словно мешок с песком, и поволокли к лестнице. Юноша даже не сопротивлялся, но его все равно пару раз больно пнули под ребра на всякий случай. Его подняли, считая ногами ступеньки, наверх, в распахнутую дверь какого-то гаража, хотя Азамат даже не помнил момента, как тут очутился, ему казалось, что весь допрос происходил с ним в том же доме, откуда он вроде не выходил.

В гараже машин не было, но вокруг навалено доверху всякого барахла, старых шин, тряпок, каких-то мешков, и даже ящики с тушенкой и другими консервами стояли у стены штабелями. Холод здесь был ужасный. Азамата подволокли к батарее, гармошкой тянувшейся у заклеенного матовой пленкой узкого окна под потолком, наручниками приковали к трубе и отошли. Кольцо наручников, защелкнувшееся, словно дверной замок, больно стянуло кожу на запястье клещами, Азамат рванул его на себя, но оно только сжало еще сильнее, и он упал на пол, боясь причинить себе новую боль и мучаясь от горевшей огнем своей плоти на левой руке.

– Что, молекула, больно? – спросил, повернув голову на толстой, едва торчащей из плеч, короткой шее, один из спецназовцев. – То-то, будешь русских девок трахать, за яйца тебя прикуем. Враскоряк! Понял, молекула!

Он очень больно пнул его носком «говнодава» прямо в ребро голени, и, глядя, как Азамат корчится, удовлетворенно сплюнул прямо на парня и отошел. Постепенно очухавшись и придя понемногу в себя, Азамат понял теперь только одно: он совершенно запутался в том, что происходит. Козлобородый, Новруз, девка, майор и теперь еще этот спецназовец смешались в его испуганном, растревоженном разуме в столь плотный бульон, что разобрать окончательно, кто за кем тут следил и где совершил он ошибку, поддавшись соблазну или уговорам одного из передававших его из рук в руки людей, Азамат уже был просто не в состоянии. Ужас происходящего и даже ожидание смерти парализовали мальчишку, и, теряя остатки сил, он замер послушно на грязном полу и скорчился, словно младенец, покорный и слабый, отдавая себя в руки тем, кто следующий возьмет его в оборот. Как говорил дед Азиз, на востоке терпят

и ждут, когда враг расслабится и отвернется, а иначе его не возьмешь. Сам он так делал не раз во время войны, спасаясь при первой возможности от обстрелов, но то была именно война, на которой брали пленных, а не заложников, которым оказался сейчас Азамат. И он испугался, что Фархата теперь будут ловить на него, как горную лису на подсадную курицу, бестолково бьющуюся на цепи.

Он не знал, сколько времени он находился в промерзшем ледяном гараже. Внезапно дверь распахнулась, и внутрь, не замечая скорчившегося клубком пленника, вошел майор и с ним другой высоченный спецназовец, о чем-то тихо переговариваясь между собой. Майор достал из подмышки прикрытый газетой небольшой ноутбук, раскрыл его и включил, после чего сел на ящик, заменявший стул в гараже, и ожидая загрузки программ, хитро взглянул на вытаращившего на него глаза Азамата.

– Вишь, пялится, – кивнул он спецназовцу в его сторону.

Тот усмехнулся. Вдвоем они уставились на экран компьютера, словно нарочно демонстрируя его молчащему встревоженному Азамату, потом майор начал быстро щелкать клавишами, загружая какие-то сайты и вводя пароли и коды. Это продолжалось довольно долго, и они настолько ушли в работу, что Азамат отвернулся, наблюдая за восходящим солнцем в заиндевшее от мороза окно над своей головой. Он повернулся к ним снова, лишь когда майор издал хрюкающий звук и хмыкнул удовлетворенно.

– Все путем. Первый транш прошел, – сказал он спецназовцу, и тот взаимно ухмыльнувшись, кивнул. – Можно отдавать.

Майор повернулся к Азамату на ящике, загораживая спиной горевший экран компьютера, и подмигнул, заглядывая в распахнутые широко черные глаза паренька.

– Повезло тебе, сука. Брат прорезался. А мог бы и свалить с потрохами.

Спецназовец над ним громко хихикнул, и майор выключил компьютер и встал, забирая его с собой. Напарник его тоже выпрямился и полез за ключами от наручников, не сводя с Азамата глаз. Паренька отпустило.

– погоди, – вдруг майор, уже было направившись к выходу, остановился и взял за плечо спецназовца. – Хочу сюрприз дочке сделать. На память.

Он положил ноутбук на ящики у двери перед оторопевшим спецназовцем и направился к Азамату, доставая из чехла с пояса выкидной, острый, как бритва, нож. Увидев его, Азамат перепугался, душа его словно ухнула в пятки, и он попытался вскочить, но наручники тотчас рванули его грубо и больно вниз, и он упал навзничь на разъезжающихся ногах.

– Помоги, – скомандовал спецназовцу враз помрачневший майор, и тот, как сторожевой толстый пес, растопырив неловко и глупо огромные руки, словно рыбак, собиравшийся тащить из воды подведенную на блесну, но еще бешено бившуюся огромную рыбину.

Дальнейшее Азамат помнил, будто во сне. Спецназовец бросился на него, прижимая нелепо к полу, и майор зашипел, хватая за руки и избивая отчаянно бывшего юношу острым носком ботинка. Вдвоем им удалось прижать отбивавшегося Азамата к шершавому полу спиной, запрокинув голову и сжимая дергавшиеся ноги. Перед глазами Азамата мелькал камуфляж, руку, скованную наручниками, ломило от боли. Испуганный до смерти, он задышался под тяжестью туши, усевшейся ему прямо на грудь и упершейся в живот коленями, и тут внезапно почувствовал, как майор расстегивает ремень у него на брюках и стягивает рывками штаны. И Азамат закричал, отчаянно и безнадежно, извиваясь в руках мужиков, что были явно сильнее. Стараясь не пропороть себя невзначай ножом, майор отвел руку с ним за спину, и второй, свободной, стащил вниз с Азамата трусы, увидев сразу в волосатом его паху сморщившиеся от страха и холода гениталии. Спецназовец отвернулся, брезгливо сглатывая слюну и стараясь не глядеть на майора, орудовавшего своим ножом, как грибник. И Азамат заорал от пронзившей его дикой боли, взорвавшей пол-живота.

Он пришел в себя вечером, когда лежащего на полу гаража, его растолкали сапогами спецназовцы, подняли на ноги и шатающегося от боли и потери крови, повели на улицу под руки. Азамат еле шел, и каждый шаг отдавался внутри его тягучей тяжелой болью, ноги не слушались, низ живота ныл и лопался от мучительной рези, и он чувствовал лишь, как давит набухшая кровью тугая повязка в промежности, крест-накрест перехватывавшая живот.

В сумерках его вывели из гаража к стоящему в воротах среди гаражей большому черному минивэну «Мерседес» с тонированными стеклами. Тускло освещенный фонарями двор скован был холодом, но без снега, лужи застыли и блестели морозными искрами, и пар прерывисто вырывался у него изо рта. Азамат с трудом оглянулся, но майора нигде не было видно, словно он пропал без следа пару часов назад в том страшном сне. Дверь минивэна плавно отошла в сторону, и Азамата втолкнули внутрь. Там было темно и тепло. Он упал на пол, обнимая чьи-то ноги в хороших блестящих ботинках новой линейки «Эрменеджильдо Зенья» из крокодиловой кожи, и больше не двинулся с места. Дверь за ним захлопнулась, и машина плавно тронулась с места.

Когда они вывернули на шоссе, сильные руки с часами «Бреге» на запястье подняли Азамата с пола и аккуратно посадили рядом с собой, обнимая за плечи. Юноша дрожал, постепенно оттаивая от сковавшего его в гараже холода и дикой тянущей боли в грубо зашитой ране в паху, и приходил понемногу в себя. Он повернул испуганное, искаженное лицо в сторону, к сидевшему рядом с ним, и узнал в полутьме, освещенного лишь огнями с дороги и приборной панелью водителя мрачного и неразговорчивого дядю Анзора. Он был одет в дорогое пальто «Пьер Карден» с бархатными обшлагами, руки его в перчатках «Прада» сжимали по-прежнему Азамата за плечи, и мальчик привалился к нему без сил. Дядя пошевелился, поддел что-то ногой под сиденьем, и Азамат, скосив невольно глаза, вздрогнул. В проход между креслами перед ним, подталкиваемая носком дядиного ботинка, со стуком, словно кочан капусты, выкатилась всклокоченная и измазанная черной кровью отрезанная усатая голова Новруза и уставилась на Азамата выпученными глазами.

– Это он тебя продал русне. За копейки. Мы вдогонку помчались, да опоздали. Успел подсуетиться, пидор ебливый. Отбить пробовали, на пирсе стали стрелять, да куда там. Успели тебя перепрятать.

– А Фархат? – спросил тихо юноша, глядя на мертвую голову под ногами.

– Он деньги за тебя перевел.

Дядя погладил парня по голове, но не стал слишком жалеть Азамата, это было не в его правилах.

– Ничего, у меня есть хороший хирург. Сошьет тебе его из чего-нибудь заново. У русских отрежет. Не горюй, Азамат.

Азамат не ответил. Он знал, что едет домой, с дядей Анзором, и совсем успокоился.

Смерть Егора Гайдара

Смерть Егора Гайдара Прохоровы отметили всей семьей. Каждому нашлось, что припомнить покойнику. Дедушка, ветеран корейской войны, записавшийся туда не по своей воле китайским добровольцем, чем гордился потом всю жизнь, держа у себя все лихие годы борьбы с китайским гегемонизмом портрет Мао Цзедунa с дарственной личной надписью, бушевал больше всех. Он не мог забыть усопшему сгоревшие сбережения, низкую пенсию, пропавшую дачу в Крыму, отобранную отделившимися от России репрессированными в незапамятные времена татарами, дефолт, инфляцию, крах МММ, куда он вложил свои скудные накопления от продажи котят, и даже дорожавшую все эти годы водку. Крах МММ вспоминали все, особенно мамин брат, шурин дядя Сережа, незадолго до бегства Мавроди занявший у родственников полмиллиона рублей и ухнувший колоссальные деньги в прогоревшую пирамиду. Чтобы отдать долги, он вынужден был продать свой мопед, садовый участок и любимую коллекцию марок, собиравшихся с детства. Теперь он пил дешевый коньяк за здоровье покойника на том свете, который, по общему мнению, положил их деньги себе в карман, и ни о чем не жалел.

Вася во время застолья напряженно молчал, уткнувшись в свою тарелку с салатом и овощами. Есть не хотелось, да и повода, усиленно обсуждаемого довольной родней, он в этом не видел. Телефон звонил непрерывно, какие-то дедовы знакомые поздравляли друг друга, радовались и смеялись, громко выражая надежду, что жизнь их теперь наладится, дела пойдут в рост, сбережения, пропавшие в ходе реформ, наконец-то вернут, а заодно восстановят СССР, дешевую водку и путевки в крымские санатории. Вася не верил в разносившуюся по дому хрипылыми старческими голосами нелепую чепуху, считая, что они занимаются самовнушением и обманом все восемнадцать лет, пока он живет на свете, но не хотел, как всегда, возражать в пустоту, зная заранее, что голос его услышан никем не будет. Телефон разрывался по-прежнему, и это заставляло его каждый раз вздрагивать и дергаться с места, словно он собирался успеть прежде всех остальных схватить телефонную трубку, хотя она, если и собиралась ему звонить, то лишь на мобильник. Он ждал ее, так же тупо и безнадежно, как дети ждут в Новый год появления деда Мороза, втихомолку подсматривая и томясь всю ночь напролет у замочной щели.

Кира позвонила под вечер. Он думал, что она, наконец, извинится перед ним за вчерашнее, когда ему пришлось поневоле, как школьнику от надоевшей учительницы, выслушать от нее то обидное, что до сих пор лежало камнем в груди, но Кира ловко обошла скользкую тему и сразу взяла быка за рога.

– Ты когда будешь? – спросила она своим прокуренным голосом, как ни в чем не бывало. – У тебя сегодня занятий нет, я все знаю! Когда?

– А надо? – дерзко спрашивал он, злясь на себя и оглядываясь, слышит кто-нибудь их разговор, или нет.

– Не дерзи. Из-за тебя я день и ночь сижу на успокоительных!

– Ночь еще не настала.

– Умник! Давай ноги в руки, и сейчас же ко мне. Или репетировать ты не будешь? Знаешь, что тебя ждет?

– Армия, детка, – он усмехнулся в трубку и замолчал.

По опыту он уже хорошо себе представлял, чем заканчиваются его репетиции, но не мог ничего поделать, считая себя внушаемым и безвольным, как говорила когда-то мать. Мать его, кстати, в отличие от Киры, волевыми качествами похвастаться не могла, бралась за любую работу, откуда ее выгоняли, кидали, не доплачивали или искали повод, чтобы уволить, не заплатив, но она принималась за дело снова, с упорством, свойственным только русским женщинам, оставшимся с детьми на руках. Дети росли и становились большими, но она про-

должала носиться с ними, словно большая глупая курица, давно растерявшая всех цыплят и позабывшая про то, как устраивают гнездо для уютной жизни. Вася успел отучиться в школе, куда ее вызывали редко и в основном за денежными поборами, поступить в Консерваторию по классу баяна, с детства вцепившись намертво в дурацкий тяжелый инструмент, а она все ходила за ним, тыкаясь в разные двери, и опасаясь, что с ним что-то случится, провожая его по утрам до порога и собирая с собой еду. Он стеснялся ее, стараясь всячески избегать на людях, прятался в кабинетах, пока она торчала в консерваторском дворе, робко допытываясь у однокурсников, куда делся ее сынок, студент первого курса. Потом он познакомился с Кирой, потом с Музой, и все завертелось и понеслось, и помчалось так быстро, что ей было уже его не догнать. И она махнула рукой.

С Кирой у него все получилось неожиданно, кажется, в народе такие события называются «словно снег на голову», и он даже представить себе не мог в прошлом году, что будет с ней жить. Теперь, когда прошел уже год, и он повзрослел, если не стал умнее, начини он сначала, то вряд ли бы запал на нее. Но пути назад не было, а ломать намечавшуюся бесппроблемную жизнь, обещавшую ему то, чего он никогда не достиг бы в своей большой, но обреченной на вечное прозябание у барского корыта семье, не хотелось. К тому же он скоро пришел к выводу, ошеломившему поначалу, но оказавшемуся непробиваемой истиной, что в жизни нет места принципам. Все принципы рано или поздно ведут к поражению, а поражений после поступления в Консерваторию он не терпел. Так же говорила и Кира, лежа в постели с ним и затягиваясь сигаретой после очередного соития, и он мысленно с ней соглашался, кривя свою наглую мордочку. Курила она по-страшному, как паровоз, но делать замечание ей он побаивался, намекая лишь, что когда-нибудь в самый неподходящий момент посадит окончательно легкие. Дома у нее было прокурено все, от потолков и покрытых роскошными старыми обоями стен, до последней сортирной бумаги и зубной пасты, которой он чистил зубы теперь, по утрам собираясь в консерваторию. Она любила подкрадываться тихо и незаметно сзади, пока он брился и драил зубы свои ее щеткой, стоя перед зеркалом голым, и неожиданно клала руки ему на плечи, пугая и дыша своим прокуренным перегаром, и чтобы скрыть подозрения, он сам начал незаметно курить. Это вызывало дома скандалы, но даже заходясь по утрам в крике, мать понимала, что мальчик ее уже взрослый и сам ведет свою жизнь туда, где ему хорошо. И потому Кира продолжала каждый раз с сигаретой в зубах прокрадываться к нему в ванную, даже если он торопился, и теряя голову, они начинали трахаться прямо там, стоя под душем или сидя на краешке унитаза, а потом он, распаренный и ошалевший, еще ощущая горький дымный вкус ее поцелуев, сломя голову мчался на занятия к профессорам, которые не мог пропустить.

Сейчас, словно подстегиваемый кнутом, затыкая уши от воплей застольных, он быстро оделся и вышел на улицу, ежась от морозного ветра со снегом. Кира уже ждала его, стоя в окне силуэтом, скособоченным и худым на фоне золотых занавесок, и конечно, курила.

– Ты старая, – хотел он уже ей сказать, но сдержался, привычно целуя долго и упоенно в губы, с которых она успевала каждый раз перед встречей смывать алую липкую помаду свою, готовясь к его приходу.

Он бросил свою сумку на стол, заваленный стопками рукописей и ученическими работами, которые, как казалось ему, пылились неделями без движения, давно ожидаемые в приемной комиссии, но Кира была опытным педагогом и с первого взгляда могла угадать, какую работу неизвестного прыщавого соискателя стоит продвинуть дальше, а какую зарубить на корню. Вася хорошо знал, что некогда, еще до знакомства, таким соискателем был и он сам, жалкий семнадцатилетний подросток из подворотни в спальном районе, пока не добрался до нее с помощью Музы. Муза была репетитором несчастного парня, и оказалась ее сестрой, а дальше все было делом техники и сноровки. Теперь, на ходу срывая одежду и не продолжая

утомивший уже разговор, они повалились в кровать и кувыркались там вместе все два часа, голые, потные и счастливые, словно ночного раздора вчера меж ними как не бывало.

Потом она снова курила, обнимая его, в постели, сыпя пепел прямо на смятые и скрученные в жгут простыни, и лежала, уставившись в лепной потолок. Вася лежал рядом с ней, ничуть не смущаясь своей наготы, ярко освещенной лампами под потолком, Кира не терпела темноты в сексе и хотела все ясно видеть, как днем. Его поначалу удивляли такие чудные привычки, но он хорошо понимал, что за долгое время жизни своей человек неизбежно набирается всякой смешной чепухи, очевидной лишь посторонним, и несет ее в огромном мешке на своем горбу, комичный и нелепый с бессмысленной грузной ношей. В ее возрасте такая ноша должна была уже вырасти до небес, затемняя иногда солнце, но после вчерашней ссоры поднимать столь мелкие неприятности не хотелось. Поэтому он молчал, заложив за голову руки, и думал в недоумении, зачем она так настойчиво поигрывает его яйцами, уже нывшими от опустошения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.